

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов
10/2025**



В номере:

Одно большое приключение

«Такая история. История о том, как я загубил успешное производство поддельных восточных новостей, которое в те дни как раз набирало обороты».

Повесть «Релокант» Алексея ТОРКА разворачивается как дневник походов релоканта из Волкогонска (весьма говорящее название), разбитого и растерянного, сбежавшего в Душанбе, о котором и знал-то только по рассказам о приключениях Ходжи Насреддина из книги Леонида Соловьёва, прочитанной в детстве. Пройдя через череду мытарств, лжи, любви, соблазнов и разочарований, герой осознаёт, что Восток наказывает его за обман и фальшь. «Не сошёл ли я в самом деле с ума на почве экзотических историй? Верно ли, что я вообще отъезжал из дома? Может, и войны никакой не случилось? <...> Бог мой, всё, что случилось, — было сном. Я не был в той долине, я не спасал Себаргу, тонущую в озере, я не встречал отца... но... Но ничто не мешает мне повторить всё это наяву». Потому что именно эти истории, любовь и преодоление становятся настоящей жизнью героя.

«Что написано сердцами»

Эта звонкая строка из стихотворения Анны ЗОЛОТАРЁВОЙ может стать общим эпиграфом поэтических публикаций номера.

Тонкая пластичная поэзия Сергея ПАГЫНА пронизана светлой памятью и снами, это «обжитый мир», где живы все и «поют о детстве, матери и отце».

Философская лирика Карена ШАКАРЯНА — трагические размышления о жизни и смерти: «Вся земля — могила./ Небо ни при чём./ Вспоминать — не в силах./ Помнить — обречён».

В стихах Евгения СТЕПАНОВА, посвящённых его родному посёлку Быково и героическим соседям, звучит не только риторика, но житейская мудрость:

«Лишь бы текла во мне любовь —/ Не кровь. А как же без любви-то?!»

«Преобразователь культурного пространства»

«...Представьте себе зимний день, температура минус 65 градусов, белый снежный покров. И там, в театре, зрители замороженно смотрят “Абхиджняна-Шакунтала” Калидасы. Можете ли вы представить себе тепло индийской литературы в самом холодном городе мира — Якутске?

Это не воображение, это реальность. Истина, которая наполняет нас всех гордостью и радостью», — премьер-министр Индии рассказывает радиослушателям о спектакле «Сахаантала» на сцене Театра Олонхо.

В рубрике «Культурная хроника» прозаик Олег СИДОРОВ размышляет о жизненном пути и творческом кредо знаменитого якутского режиссёра Андрея Борисова.

«Фаина, налей немного вина блуднице...»

1949 год, последняя встреча Надежды Крикун с Ахматовой. С Раневской — ещё годы дружбы и переписки: «Знаете, мне всё время хочется что-то добавить к роли от себя... Но когда имеешь дело с живыми авторами, тут можно столкнуться... А когда это Чехов?..»

В конце 1980-х в редакцию ташкентского журнала пришла немолодая женщина и предложила для публикации свои очерки: первая военная осень, юная студентка ИФЛИ, приехавшая в эвакуацию с мужем — знаменитым искусствоведом Абрамом Эфросом, работа в госпитале, «Ташкентские Афины», Анна Ахматова и Надежда Мандельштам, Михоэлс, ГОСЕТ и Театр Революции, сближение с местной интеллигенцией... После войны Надежда Крикун вернулась в Узбекистан, работала на телевидении. О её судьбе и людях её жизни — эссе писателя из Ташкента Лейлы ШАХНАЗАРОВОЙ.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2025.
Подписано в печать 25.09.2025.
Выход в свет 26.10.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПАГЫН. Обжитый мир. <i>Стихи</i>	3
Алексей ТОРК. Релокант. <i>Повесть</i>	7
Анна ЗОЛОТАРЁВА. Что написано сердцами. <i>Стихи</i>	47
Александра СОРОКИНА. Перелётные. <i>Рассказ</i>	51
Владислав РЕЗНИКОВ. Новый мандарин. <i>Рассказ</i>	65
Константин ШАКАРЯН. Последнее время. <i>Стихи</i>	73
Александр БАРБУХ. Злые боги полей и могил. <i>Рассказ</i>	78
Владимир ЛИДСКИЙ. Два рассказа	91
Надя ДЕЛАЛАНД. Мой свет. <i>Стихи</i>	106
Евгения САВВА-ЛОВГУН. Когда цветёт шиповник. <i>Рассказы</i>	109
Евгений СТЕПАНОВ. Пусть краток день земной. <i>Стихи</i>	130
Марина КРАМСКАЯ. Несвятые. <i>Рассказ</i>	133
Илья ПРОЗОРОВ. Клён, который мы посадили. <i>Рассказ</i>	146
Микаел АБАДЖЯНЦ. Человек за спиной, или Попытка автопортрета. <i>Рассказ</i>	154
Александр ГОРОХОВ. Ирочка. <i>Рассказ</i>	167
Григорий КНЯЗЕВ. На вселенском сквозняке. <i>Стихи</i>	172

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

XXII Международный литературный Волошинский конкурс на страницах «ДН». Вступительная заметка Андрея КОРОВИНА.....	176
--	-----

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Екатерина КАКУРИНА. В одном и том же. <i>Рассказ</i>	208
--	-----

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШ ОМ

Аркадий ЛЕОНОВ. Животные на войне. <i>Рассказ</i>	213
---	-----

НАЦИЯ И МИР

Анвар АМАНГУЛОВ. Непрочитанный шедевр	215
---	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Ганна ШЕВЧЕНКО. «Поэтический дар — мутация души». <i>Разговор ведёт Юрий Татаренко</i>	229
---	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Олег СИДОРОВ. Путь Андрея Борисова: от «Желанного берега...» к настоящему и будущему. <i>Штрихи к портрету преобразователя культурного пространства</i> ...	235
Вера ХАРЧЕНКО. Выбор имени	242

XX ВЕК. АРХИВ

Лейла ШАХНАЗАРОВА. Чёрная шелковица, белая акация... ..	246
---	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. В ожидании ИИ	264
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. «А на Чистых прудах лебедь плывёт»	268
--	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Символы культурного пространства Андрея Борисова

Сергей Пагын

Обжитый мир

* * *

...И почудится — времени нет.
Эта птица, что впаяна в свет,
в бесконечную осень,
этих ив неподвижный пожар
и ветвей отражение — как дар
на блестящем подносе.

* * *

Где тайна есть, там тянется дорога —
она в окне, и пусть за ним стена, —
она живому зрению видна.
Так мальчик, вдруг застывший у порога,
не в сад глядит, а в будущность свою,
так куст осенний клонится к огню,
так рвётся сумрак из саманной клетки...

И я порою чую этот ветер.

На тех окраинах

На окраинах жизни что не повод для смерти?

Эмил Чоран

На тех окраинах, где всё уже случилось, —
пропел петух, и липа отворилась,
впустив в себя не пчёл, а пустоту,
репейник высох, и погасли воды
озёрные, и тишина природы
в немую обратилась темноту,

Пагын Сергей Анатольевич — поэт, филолог. Родился в 1969 году в г. Единцы (Молдавия), где живёт и сейчас. Выпускник Бельцкого педагогического института. Автор шести книг стихотворений, среди них «Просто жизнь» (2017) и «Спасительный каштан» (2022). Лауреат премии журналов «Дружба Народов» (2022), «Наш современник» (2024), Русской премии (2024) и др. Постоянный автор журнала «Дружба Народов».

что делать мне?
Ещё не стал я прахом,
ещё объят и трепетом, и страхом,
и не изжил ни памяти, ни снов...
Горит звезда. Летит ночная птица.
И может быть, ещё со мной случится
и свет, и ветер,
мне несущий зов.

* * *

Помашу — не заметит
из своей тишины.
Человек на две трети
только память и сны —

в своих сумрачных ливнях,
в своих нежных снегах,
в золотистых и длинных
обжитых облаках.

Если б даже хотели
здесь продлить и сейчас,
стародавней метелью
вдруг окутает нас.

* * *

Медленно лист пролетает сквозь дым.
Вот провернулся ключом золотым
в скважине зыбкой воздушной —
и потянуло давнишней зимой,
детской румяной с мороза щекой,
сладкой слезой простодушной.

Моему соседу

«Приходи, посмотрим в моё окно,
там ночами такое идёт кино —
Бог стоит меж мёрзлых тыквин и кабачков,
ангелы тихо ходят или лежат ничком —
только крылья красным огнём горят,
и они о чём-то радостном говорят,
хоть их речь — лишь пенье одно в конце,
но поют о детстве, матери и отце...»

Я однажды ночью к тебе приду
и налью вина, разложу еду.
А потом мы выключим в доме свет,
чтоб увидеть то, чего в мире нет.
И быть может, ангелы нам споют
про ушедший праздник, былой уют,
нарисуют пламенем мне отца —
снеговых ветров или снов жилья.

Я приду,
включу в темноте окно,
и всю ночь мы будем смотреть кино,
фильм про то, чего в мире нет...
В огороде Бог зажигает свет.

* * *

Зимней тьмою долговязой,
горькой сумрачной водой
неотступно, неотвязно
бездна ходит за тобой,

становясь порою кошкой
или старым псом хромым,
то открыто, то сторожо —
шаг её неотвратим.

Бесприютна, бессловесна,
ходит, дышит за спиной,
пряча взгляд смертельный, бездна,
приручённая тобой.

* * *

Ястребиный простор. Вдоль дороги — охота.
Терпеливые птицы сидят на ветвях.
Безошибочный взгляд,
и мгновенность полёта —
и мышиная смерть в опустевших полях.

А на них лишь ветров одичалых шаманство,
и полёвку не спрячет ни бурьян, ни стерня.
Ястребиный простор.
Взгляд прямой из пространства
ледяным холодком проникает в меня.

* * *

Т.Н.

Никакого побега не надо,
шага в сторону,
взгляда за ветер...
Нам довольно пустынного сада
при закатном неистовом свете.

Это дерево, в небе летящее,
это музыки мощь бестелесная...
Это здесь... это вот — настоящее,
хоть земное оно, хоть небесное.

Ночью

Обжитый мир.
Исхоженные сны.
Но так порою хочется другого...

И долго тянешь невод тишины,
чтоб выловить мерцающее слово.

* * *

Я буду жить
и в яви, и во снах,
в земле гудящей, в птичьих небесах
и в светлой одуванчиковой сфере,
которая скудеет на ветру.
Я буду жить, покуда не умру —
и будут вновь распахнутые двери,
а там за ними — птицы, небеса,
зависшая над грушею оса
и стол, накрытый скатертью короткой,
и резкий запах скошенной травы,
и отраженье вечной синевы
в ковше с водой
доверчивой и кроткой.

Я буду жить.

Алексей Торк

Релокант

Повесть

Глава I, в которой автор со стыдом, но и с противоречивым чувством признается во лжи, ибо что есть неправда как не естественная основа мира?

С этой женщиной, мосей Евой, изменившей меня, я познакомился в селении под названием Джиенхон. А сутками ранее я сидел в трёхстах километрах от неё на лавке во дворе своего временного дома в Душанбе. Релокант из Волкогонска, разбитый и растерянный, я разглядывал песок под своими ногами.

Был вечер, и двор уже зарешетило теньями. Тучи, как волки, обложили небо — ночью, кажется, случится гроза. Забегая вперёд, скажу, что она и случилась, но не сейчас, а через ночь, когда, сверкая, она освещала сотворение нашего с ней мира. Ибо знайте, что грозы возникают при встрече очередного Адама с Евой, а не из-за каких-то атмосферных явлений.

Вскоре пришёл знакомый голубь. Его хвост запачкан белой краской. Я опознавал его уже безошибочно — два года назад я назвал его Валькирией, однако вскоре разобрался, что он — самец. И стал он Валькирием. Голубь остановился неподалёку и воззрелся на меня. Он просил кусочек лепёшки или чего-нибудь другого.

Он и кот по кличке Рахим, меняя друг друга, вот уже два года приходят, когда я сижу на этой лавке. А сижу я здесь регулярно и в разных состояниях. И — довольный, срубив на лжи очередные сто долларов, и — расстроенный, как сейчас. Эта лавка — мой капитанский мостик. Я — капитан местных грехов.

Обычно коту и голубю я всегда что-нибудь даю, ибо восседаю либо с самбусой, которую покупаю у Абдулло, либо с лепёшкой, только вынутой из тандыра. Но сейчас я показал ему на личинок, которыми был усеян окрестный песок.

Алексей Торк (Алишер Ниязов) родился в 1970 году в Таджикистане, где жил до середины 1990-х. Работал в таджикских СМИ. С 1996 по 1999 год был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Кыргызстане. Освещал военные конфликты в Таджикистане и на юге Кыргызстана. В 2010 году стал лауреатом Русской премии за рассказы под общим названием «Фархад и Ширин». Эти и другие рассказы Алексея Торка были впервые опубликованы в «Дружбе народов».

— Валькирий, сегодня у меня ничего нет, — произнёс я. — Я прогорел, ибо живу не по правде из-за того, что борюсь за своё существование. Но у тебя-то, у тебя всегда есть какие-то букашки, какие-то личинки. И потому ты можешь жить не кривя душой. Так оглянись же!

Валькирий оглянулся. И, вздохнув (ничего он не вздыхал, это я придумал для красоты), поплёлся к личинкам. Или куда он там поплёлся.

Вслед за ним пришёл кот Рахим. Иногда его подкармливают бараньим салом в чайхане «Самарканд», расположенной на углу. Туда-то он и направлялся, но по дороге приковылял ко мне, на всякий случай, и выпучил на меня свои наглые глаза (ничего не наглые, это я использовал штамп о котях).

— Привет и тебе, — с иронией произнёс я. — Ты пришёл к человеку, у которого нет даже того кусочка бараньего сала, какой ты получишь вскоре у Наргизы в летней кухне. Но ведь ты же зверь, зверь. Поймай кого-нибудь. Например... — Я огляделся. И ткнул пальцем в сторону Валькирия, клевавшего личинок у огромного камня под чинарой. — Вон его...

Кот как будто понял меня: пригнулся и начал было красться к голубю. Но тут я словно бы очнулся от морока и с криком замахал руками.

— Улетай, Валькирий! — воскликнул я, предупреждая птицу. — Улетай!

Голубь вспорхнул и уселся на ветку тополя.

Кот обернулся и глянул на меня саркастически. Он только что головой не покачал. И ушёл медленно, намеренно медленно, к чайхане.

— Свинья, — гневно прошептал я ему вслед. — Ты был готов сожрать существо, знакомое тебе два года, как минимум.

Впрочем, подумал я, кто тут свинья? Это ведь я показал коту на его товарища. Я вздохнул от отвращения к себе...

К тому же все остались мной недовольны — и кот, и голубь. Личинки тоже, наверное. Мной вечно все недовольны.

А здесь, в Азии, ко мне ещё и равнодушны, и тут хотелось бы написать, что и плевать на Азию, но лгу я только по профессиональной надобности.

Мне не было плевать на Азию. Только она могла дать мне сейчас какое-то количество денег, ибо я хотел есть, я хотел закурить и по возможности выпить, но денег у меня оставалось лишь три сомона мелочью. Самбуса у Абдуллы, между тем, стоила не меньше пяти сомонов. Самая дешёвая, она полна одного горького лука. Так полна одной лишь горечи жизнь всякого порядочного человека.

Впрочем, я не являюсь порядочным человеком. Накануне выгнали сразу с двух работ — за ложь и мошенничество.

Причиной тому стала заметка о «пьяной картошке», которую я продал одновременно двум изданиям — таджикской газете «Ариана Ваеджа» и питерскому историческому журналу Nevsky-line. Я написал о новом сорте картофеля, который получили таджикские селекционеры.

Когда-то, во времена СССР, они действительно вывели тот самый знаменитый сладкий сорт лимона, скрещенного с апельсином.

Теперь же, утверждал я, они скрестили виноград с картошкой. И вывели первый в истории продукт, являющийся спиртным напитком и закуской

одновременно. В результате естественного брожения винограда в картофеле. Я сообщил о результатах клинических испытаний, в ходе которых десять таджикских добровольцев продемонстрировали достоверные признаки опьянения, а содержание алкоголя в их крови достигло 3%.

Я написал, что ближайшей зимой картошка будет представлена в Москве на выставке ЭКСПО. «Таджикские селекционеры дали новому сорту чарующее название — “Поцелуй из-под чадры”, ибо картофель пьянит, как женщина, ибо мерой всего является женщина, ибо разве не делается всё ради женщины?» — завершил я эту заметку.

Такие фальшивки я строгал в то время десятками. Однако эта — вызвала немедленный скандал, причём на официальном уровне.

В неё я уместил сразу две темы, неуместные в приличной восточной стране: темы эротизма и алкоголя. Кто-то скажет: а как же Омар Хайям? А как же этот гений из Нишапура, сообщавший много любопытного на эти темы?

Но вам ответят в Душанбе, и не исключено, что это будет полицейский чин, занимающийся вопросами депортации: «Омару Хайяму мы это разрешаем. А позвольте узнать вашу фамилию».

В итоге министерство культуры Таджикистана опубликовало на своём сайте сообщение, в котором потребовало от Nevsky-line убрать порочащую республику заметку. А местную «Ариану Ваеджу» едва не прикрыли.

Россияне молниеносно сняли заметку. Таджикское издание вынуждено было печатать покаянное письмо с обязательством в течение трёх месяцев покаяться ещё три раза. Отдельным пунктом газета обязалась возвести в своём дворе памятник таджикскому классику Абу Абдулло Рудаки и проводить возле него редакционные совещания.

В итоге меня изгнали из обоих изданий. И хуже всего, что и все прочие российские СМИ, прослышавшие обо мне, немедленно сбрасывали мои звонки. Не говоря о таджикских.

— Извини, Алексей, мы прекращаем сотрудничество, главред был непреклонен, — сказал мой куратор в Nevsky-line Олег Брянцев. В этом издании я подписывался дурацким псевдонимом Мулла-Юла. — Ты ужасно подвёл нас. Нельзя продавать товар двум покупателям. Да ещё и под эротическим заголовком... — сказал Олег.

— Вас смутил эротический заголовок?

— Нас смутил звонок из нашего МИДа, в котором пообещали, так сказать... — замялся куратор.

— ...Нечто эротическое, — помог я ему, желая уже завершить тяжёлый разговор.

— Если мы ещё раз тронем эту чудесную страну, — подтвердил Брянцев.

Мы послушали с минуту собственное молчание, а затем Олег сказал грубым голосом, что какая-то часть гонорара за картошку — пять тысяч рублей — мне всё же переведена на карточку.

Брянцев — святой. Скорее всего, зная мои обстоятельства, он послал их из собственного кармана.

Его денег мне хватило на пять дней. Я провёл их здесь, во дворе, на лавочке, с перерывом лишь на сон. Я пил пиво банку за банкой, ругал себя, думал обо всём, чертил окурком по песку слово «дебил», подкармливал самбусами Валькирия и Рахима. И они, деньги, как раз накануне закончились.

Такая история. История о том, как я загубил успешное производство поддельных восточных новостей, которое в те дни как раз набирало обороты. Азия, пропущенная через моё воображение, давала приличный доход.

Я писал обо всём загадочном и экзотическом, происходившем в Центральной Азии, вернее — в безудержной моей фантазии, обострённой необходимостью снимать квартиру за триста долларов и питаться в этом вовсе не дешёвом городе.

Хорошо, например, прошёл репортаж о гареме из трёхсот наложниц, скрытом на окраине Душанбе. Заведением якобы владел богатый афганец, а проник я туда будто бы, сумев устроиться рабочим котельной.

Редактор «Арианы» — высокий таджик с огромным обручальным кольцом — пожурил меня, сообщив, что этот гарем находится не в Душанбе, а в Вахдате, но текст менять не стали и заплатили хорошо — пятьдесят долларов.

Однако подлинный куш, целых пятьсот долларов, я получил в Nevsky-line за статью о киргизском происхождении газона во французском Версале. Я написал её, заметив однажды удивительное сходство газонного рисунка Версаля с киргизским национальным орнаментом. Этот факт просился в какую-нибудь романтическую историю. И я написал таковую.

Я сообщил об истории любви, случившейся между младшей женой киргизского князя и французом Люсьеном. Последний, по моей версии, являлся братом версальского садовника Буассонвиля.

Сославшись на несуществующую книгу «Хвойные композиции Версаля», написанную французским мифическим писателем Нарсисом Бонье и будто бы изданную в Париже ограниченным тиражом в 1939 году, я рассказал, что этот садовник, служивший при Людовике XIII, однажды послал брата Люсьена в далёкий Китай. Люсьен сделал всё прилежно — записал и зарисовал чудо-сад Тяньаньшэн, а затем, возвращаясь в Париж через киргизские горы, завязал роман с юной женой местного правителя. Это произошло во время того, как он остановился на ночёвку в одной из юрт князя.

При расставании заплаканная киргизская красавица вручила юноше на память коврик-накидку на седло. Он был расшит ею лично национальным орнаментом. С этим ковриком, свёрнутым в рулон, Люсьен и вернулся в Париж.

«По пути он нередко разворачивал подаренный любимой коврик, расшитый диковинными узорами, и прижимал его к глазам. Увы, во Франции коврик вскоре сгорел в пожаре, случившемся в доме садовника Буассонвиля, — сообщалось в заметке. — Юноша горевал безмерно. С туманным взором бродил он по дорожкам Версаля. И однажды утром версальский газон покрылся новыми узорами. Эти узоры в точности повторяли орнамент коврика киргизской красавицы. Утром Людовик XIII, глянув из окна, воскликнул: “Mon Dieu, quel miracle!” И, восхищённый, вызывал садовника, чтобы премировать его денежной суммой. Однако Буассонвиль отказался от денег.

Он сообщил королю, что это дело рук его младшего брата Люсьена. И всё, что брат хочет в качестве награды, — это разрешение использовать этот дорогой его сердцу орнамент при стрижке королевского газона и впредь».

Людовик XIII, прозванный, как известно, Справедливым, такое разрешение дал, рассказал якобы Нарсис Бонье.

«Бродя в наши дни по дорожкам версальского парка и разглядывая киргизские узоры, помни, читатель, о вековой любви, соединяющей цивилизации и континенты», — так завершил я заметку.

Статья была выгодно сбыта в Nevsky-line. Да и вообще хорошо прозвучала, особенно в соседней Киргизии. Оттуда вскоре мне пришло сообщение из института истории от местного академика Каната Ибраева. Он благодарил меня и просил указать выходные данные книги Нарсиса Бонье.

«Мы хотим распространить эту книгу в наших вузах и вообще организовать её переиздание в Киргизии, — написал академик. — Мы хотим гордиться нашей историей, раскрывая её неизвестные и величественные страницы...»

Я благоразумно отмолчался.

А затем кутил неделю вместе с Валькирием и Рахимом. Мы устроили из лавки во дворе ресторан «Метрополь» — самбусы я покупал у Абдуллы только с начинкой из перепёлок, за пятьдесят сомони, местного вина я накопил также самого дорогого. Оно называлось «Рубиновое». Его цена — пятьсот сомони — намекала, что вино содержит толчёные рубины.

Повариха Наргиза, готовившая неподалёку ежедневно самаркандский плов, смотрела на нашу троицу, на наш кутёж, с удивлением и осуждением.

В тот день я угощал вином даже моего участкового милиционера Шухрата — очень смуглого доброго парня.

А потом пришли они.

В Nevsky-line стали названивать мужчины в огромных роговых очках и в старых джинсах. Это были историки, которые принялись громить в пух и прах мою статью о версальских узорах. Их неустойчивость поражала. Лишённые, без сомнения, в силу своей занудности, женского общества и потому располагающие избытком времени, эти люди сообщали, что во времена Людовика XIII Версальского парка ещё не существовало, «о чём знают даже школьники». А версальского садовника под именем Буассонвиль не существовало вообще никогда. Как, кстати, и писателя Нарсиса Бонье.

«Не знаю, кто такой этот Мулла-Юла, но утверждаю, что он является обычным продавцом экзотики, лишённым, к слову, не только совести, но и нормального образования», — написал в своём блоге атаман всей этой учёной шайки питерский историк Вишневецкий.

Олег потребовал объяснений. В смысле, он захотел ознакомиться с первоисточником — трудом писателя Нарсиса Бонье. Я сообщил ему, что книга существует, но в единственном экземпляре, которым владеет таджикская Национальная библиотека и куда меня имели честь однажды пустить.

— Однако, увы, недавно книга Бонье, как и в своё время коврики красавицы, сгорел в странном пожаре, — сообщил я Брянцеву. И нагло

добавил: — Хочешь, сделаю статью об этом всего за сто пятьдесят долларов. Там много мистического.

— Спасибо, Алексей, надеюсь, это в первый и последний раз, — предупредил Олег.

Да, киргизские узоры мне тогда простили. «Пьяную картошку» — нет, что, в общем, объяснимо. Двойных агентов нигде не прощают.

В завершение всех этих неприятностей недавно позвонил участковый Шухрат. Он предупредил, что разрешение на временное проживание власти мне, скорее всего, не продлят из-за скандала с картошкой. И посоветовал:

— Акои Алексей, говорю вам как брат, не дожидайтесь неприятностей, уезжайте. В Киргизию, на Луну...

Что же, думал я, разглядывая свои ботинки во дворе, теперь буду думать о Киргизии.

Академик Ибраев, встретив меня там, пожалуй что, и побьёт. Да и чем я займусь в Бишкеке? Вновь экзотикой? Или на этот раз лучше рвануть в Ташкент и заняться торговлей полушёлком?

Два года назад, только прибыв в Душанбе из Волкогонска, я выбирал между ним и экзотикой. Первый вариант предусматривал организацию поставок на ивановские предприятия таджикского адраса — дешёвого, но качественного полушёлка. Второй — продажу восточной экзотики.

Я остановился на экзотике. Всё же я журналист. Плохой и ленивый журналист из Волкогонска. Который, как я уже сообщал, на удивление бойко повёл дело в Азии. И если бы не прокол с картошкой, то...

И вот я сижу на лавочке посреди двора, посреди Азии — без денег и планов, но с ощущением, что что-то должно произойти. Я чувствовал это, ещё выходя из самолёта.

Глава II, в которой я описываю свой путь в Азию, полный естественных для Востока чудес

Решение покинуть свой крошечный городок в Ивановской области я принял два года назад за столом, поглощая утреннее яйцо. В итоге я его даже не доел.

Я вынул паспорт из нижнего ящика комода, из среднего — все деньги, что там были, из верхнего — стопку белья. Бельё кинул в спортивную сумку, лежавшую поверх того же комода.

Я уходил с мыслью, что «навсегда». Я не был осознанным противником войны против Украины, которая разразилась незадолго до этого, в феврале. Все мои действия в тот момент диктовались обыкновенными рефлексам. Например, холодно-жарко. Это — как хвататься за чайник на плите. Вдруг ты ощущаешь, что он раскалён. Поэтому...

Поэтому двадцать четвёртое февраля меня обожгло. Я даже не стал отправлять заявление об увольнении из газеты «Наш Волкогонск», где работал

Анна Золотарёва

Что написано сердцами

* * *

Франциск молил о смерти чтобы в вечной
воскреснуть жизни — умер и воскрес
а я паршивая заблудшая овечка
Твоих небес

привязываюсь ко всему земному
бреду без цели блея — Боже мой
дойду ли я когда-нибудь до дому —
хочу домой

то волк страстей терзает то кормушка
прельщает славы то засну то в пляс
любви и милости великой побирушка
но придет час

явлюсь в бессонницу овечек счетоводу
барашком вспенюсь на морской волне
иль стану агнцем закланным в угоду
родной стране

* * *

вышла дурочка из дома
что не помнит потеряла
вкруг неё струится время
на неё взирают звёзды

Золотарёва Анна Анатольевна — поэтесса, переводчица. Родилась в 1978 году в Хабаровске. Окончила Хабаровский институт искусств и культуры по специальности «Психолог — социальный педагог». Училась в Литературном институте им. М.Горького. Работает в Российской государственной детской библиотеке. Публикации в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дети Ра», «Дружба народов», «Знамя», «Интерпоэзия» и др. Автор книг стихов «Зрелище» (М., 2013) и «Несуществующий свет» (М., 2024). Лауреат многих литературных конкурсов и премий. Живёт в Москве.

побоку река проходит
по другому травы встали
а она летит касаясь
маковкой сливовой ночи

что накоплено веками
что осмыслено умами
что написано сердцами
что воздвигнуто руками

как сокровища хранила
умножала прибавляла
не заметила прореху
и теперь пустоголова

вся теперь пуста в пустую
льётся песня сыплет слово
благодать нисходит светом
ходит дурочка сияя

* * *

чубушник — жасминовый самозванец
расцвёл повсеместно теперь трепещи
ты скоро станешь совсем оборванец
тебя раздербанят в хлам москвичи

они понесут тебя в потных ладошках
к любовникам тайным где ткут соловьи
и лягут на парковых тёмных дорожках
улики бескровные ветки твои

растащат на ахи и охи в плохие
восторгом дрожащие впишут стихи
где дышит судьба бушуют стихии
и пахнет жасмин как любимой духи

прихватят домой возьмут на работу
занюхают белые вусмерть цветы
как имя твоё откуда и кто ты
не зная и знать не желая кто ты

* * *

лучший танцор — дирижёр
к палочке чьей пришит
звнящими нитями хор
смычков и воздух дрожит

латунные рты труб
золотые горлышки флейт
тот инструмент груб
а этот чистый елей

бок изгибает рояль
на все октавы горазд
дубася струнную сталь
и низко гудит контрабас

вот танцор задрожал
руку поднял — тишина
воздух рассёк и в зал
обрушивается волна

и грохот оваций окрест
и только о нём разговор
чей танец играет оркестр
тот и лучший танцор

Лучший день

значит будем смеяться и веселиться
ведь совсем уже от тоски одурели
как смеются с ума посходившие птицы —
снегу-то навалило в апреле —
застрелиться!

вот хохочет ночь — чёрный рот свой открыла
полдень корчится — колокольчики в горле
ну давай озаряй же унылое рыло
смехом сполна дарованным горним
всем дурилам!

тот кто с самого детства был к скорби приучен
только смеевом с ней и умеет бороться
и глядишь по-над тьмой закоулков излучин
вырастет день напоённый солнцем —
самый лучший!

* * *

Весной в пальто осеннем тепло,
Но долго в нём не гуляй,
А то решишь, мол, встань на крыло,
Брось всё и лети!

Такой весны не помнит никто —
Она как блуд горяча:
Скидай — кричит с порога — пальто!
Разум задузив.

Такой весны мы ждали давно —
Пришла, и как с нею быть?
Её за дверь — влезает в окно,
Будь! — простынет след.

И если я исчезну за ней,
Кто вспомнит: была не была?
Зачем являлась сюда? — За ней
И поднять стрижа.

llorando

сильный дождь не может идти вечно
ничего не может идти вечно
вечно только то что всё конечно
да и то наверное не вечно

где я где я та что ожидала
что когда-нибудь моё настанет время
та что слов точила злые жала
и высмеивала слово бремя

что была крылата и летуча
огневласа — из такой породы —
то ль сама орлица то ли туча
ветром уносимая свободы

а потом решила встать когда-то
и смиренно охранять чужое поле
чтоб другой сноровистый оратай
урожаем знатным был доволен

и когда уже так много много
прожито сжимаюсь и немею —
подступает осень дней к порогу —
дай! а ничего и не имею

вот теперь ценю я скоротечный
сильный дождь лиловых туч строенье
зыбкое нежданную встречу
и невыверенное стихотворенье

Александра Сорокина

Перелётные

Рассказ

— Что за птица идёт по воде?

— Качурка.

Я обернулась и увидела, что Рахим от южного солнца — загорелый, в то время как я — варёная. Мои светлые волосы пушились во все стороны, его тёмные и гладкие были зачёсаны назад. Я впервые надела платье с вырезом, он вышел по-дворовому: в мятой футболке, старых шортах. Для нас Рахим не наряжался, для себя и подавно.

— Жаль, мы не ходим по воде.

— И хорошо, — он поставил ногу на хлипкую скамейку.

Не может сесть по-человечески. В прошлый раз мы играли в «правду или действие»: он заставил меня залезть на дерево, я накрамила ему губы. В прошлый раз я глядела сверху, но мы всегда наравне. Рахим — настоящий мужчина: гоняя в «казаки-разбойники», ловит ту, кто сильнее сопротивляется.

Я кусаюсь. Он ловит меня.

Хорошо, человек не ходит по воде, он и без того выпендривается.

Рахим стоит на земле и считает себя взрослым. Гордится тремя седыми волосками, говорит прокуренным голосом. Мне нравится слушать любой его бред едва ли не больше, чем издеваться над ним.

— А что ты здесь делаешь?

Уличное застолье не заканчивалось.

— Стою.

— Ты не любишь праздники.

— Я и не веселюсь.

— Заметно.

Рахим был серьёзный, пасмурный. В нашем теннисном клубе он такой один. Остальные сбивались в стадо, кучковались вокруг молодого тренера, ради которого я купила ракетку.

- Костя зовёт в команду.
- Ты не умеешь играть.
- А ты — общаться.
- Я слишком устала, чтобы тебя бить.
- Лучшее, что слышал за два года.
- Лучшее — впереди.
- Уже нет. Отца переводят.

Он достал из кармана мобильник, облезлые кнопки жалобно запищали. Я молча следила за качуркой, скользящей по огромной луже, которую птица по наивности приняла за пруд. Рахим ушёл, я думала утопиться. Не помню, сколько энергетиков выпила. Помню, как подвывала счастливой Алёне по пути домой. Лучшая подруга потому и лучшая, что живёт в соседнем доме. Печёт вкуснейшие пироги с ягодами и совсем не замечает, что мне плевать на Ваню. Конечно, Ваня ей признался! С этими двумя давно всё ясно, но им мои тучи не разогнать.

Я попрекнула бесчувствием. Следующим вечером мы стояли у подъезда Рахима. Курносый и косолапый Ваня заикался: «Эт-т-т где-сь?»

Длинный двухэтажный дом — или барак? — стыдливо прятался за кирпичной пятиэтажкой. Железные балконы, разбитый порог, дверь без домофона — в Москве облупленного старика давно бы снесли... как легко на юге! Застройка плотнее, нормативы проще — окна в окна с новостройками. В тесноте сокровенному нет места, потому ли Рахим умный такой?

— А розовый тебе к лицу! — рассмеялась Алёна.

В махровом халате он был зол и смешон.

— Что вам нужно?

Внутрь не пустил.

— От-т-мечать пришли! — Ваня крутанул вперёд рюкзак с едой и выразительно похлопал по надутому кожаному животу.

— Что?

— Твой отъезд.

Да, это я. Чего это я?

— Отец спит, — нахмурился Рахим. — Уходите.

— Пошли во двор, — не сдавался Ваня. — Харе ломаться!

— Альфа-самцы не выходят в халатах, — слова выпрыгивали сами, я не успевала их ловить.

— А бета-самцы? — парировал Рахим.

Разбойникам закон не писан, но по горам бегать запрещено. Даже у моей учёной матери есть ружьё. Её заботливые руки заплетали мне косы, ветклиника «Заботливые руки» открылась в Ванином доме, рядом с секцией дзюдо. В подвалах лечат животных, калечат людей. Старики не разнимают: «Атаман Платов приветствовал мордобитие». Дабы не исчез воинский дух. Ух!

Разбойничая, мы с Алёной часто пили чай на её балконе. Смеялись над тем, с каким усердием и отчаянием мальчики прочёсывают дворы. Лучший обзор открывается с крыши, но их начали закрывать после того, как наша одноклассница

сорвалась. Ей не удалось шагнуть с парапета на общий балкон в подъезде. Её мать закрыла школу шпагата и уехала в Москву, а мы не знали, что сказать.

Отважная многонациональная братия просуществовала ещё полгода, а потом разлетелась — один заикнулся о чувствах, другой их не разделил, переругались все. А вчетвером мы не были командой.

— В «казаки-разбойники»? — предложил Ваня, когда спустились вниз.

— Игра для мелких, — отказалась Алёна.

— И Рахим в халате. — Да, меня не остановить.

— Тебя это так беспокоит... — Усевшись на лавочку, он закинул ногу на ногу. — Костя халатов не носит?

Почти забыла, что не промахивается.

— Дешёвая провокация, — ну а я не уклоняюсь.

— Это моя лавочка, — согнал нас чей-то дедушка с газетами в пакете.

— Куда теперь? — спросила Алёна.

Ваня махнул рукой, и мы перенеслись к реке. Каждый на своих двоих, а Рахим — босиком (кошмар). Мы были юны и смелы, однако на входе в парк ступали: вместо фонарей горели ручные фонарики. Душным майским вечером в беседках что-то распивали-распевали, спали бомжи и целовались старшеклассники. Мужчины в спортивном лежали без дела и в зной. У них не было денег пировать у осетин, лечить зубы у армян или нанять ингушей-охранников. Приходилось спать.

Щедрый, благодатный край! Буйство красок, и небо — чистейшее! Бывают дни, хоть с пылесосом ходи, ни облачка не втянешь. «Что ж людям не живётся?!» — спрашивала мама.

Я случайно зарядила Рахиму локтем в кадык, он молча взял меня за локоть и повёл за собой. Змейкой мы огибали движущиеся горы мусора, спускались по заросшим тропам и не заметили, как потеряли хвост. Едва не нагнувшись (снова), я ухватила за чужую голую коленку, как за выступ. Под халатом были шорты, ладонь обожгло, как от крапивы. Рахим, явно не в своём теле-уме, не обратил внимания. Несговорчивое солнце спешно скрылось за горизонт, но низкая полная луна ещё не каталась по крышам.

В седьмом классе с нами что-то произошло: вместо того, чтобы воевать с пацанами, девчонки садились к ним на коленки. Жгли волосы плойками, стягивали лодыжки ремешками босоножек на каблуках (высоту измеряли линейкой). Загнанные зубрили бежали из школы домой — скорее за компы, другие, неправильные, бежали за гаражи. Слушали рок, обсуждали прошедшие драки. И на спор рисковали: при зрителях я решительнее, могу хлебнуть алкоголь, чтоб никого не целовать. Отстаньте уже. Правда или действие? В городе настолько нечего смотреть, что мы слонялись по продуктовым, любовались полками. То заставленными, то совсем пустыми. Надо же, кока-кола с ванилью... И шаурма подорожала. Не печалься, Ваня! Ловкий Рахим был по-спортивному сложен, не пил алкоголь, потому что не хотел. Как бы в шутку я лохматил его шевелюру. Кто-то из девчонок пустил слух, что у него — парик. Неправда! Кто врал о первой любви, воображал её, кто боялся секса, а кто —

делился опытом. Яна была из последних, пока не сорвалась. А я... застряла между.

Математик сказал Алёне, что черкешенки изящны, а русские — «коровы». Ещё он сказал, что я буйная, энергия моя мечется, а у действий нет вектора. В дневнике написал короче: «Курила в туалете. Поведение 2». Я не курила, я с ним спорила. Дура. Говорят же, мужчин надо хвалить дважды в день. Я брезговала. А Яне (что сорвалась) как-то засунули каблук в рот: «На, соси».

Люди не равны.

Рахим и я... сели на противоположные стороны замкнутых в кольцо скамеек, в стороне от рыбацких точек. Нас охраняли облезлые, хохочущие садовые гномы. Я ждала: вот-вот скажу. Я же репетировала! Например: «Что ты за человек такой? Есть нормальные парни, а есть...» «Что я сделал?» — спросил бы он. Но я молчала, и Рахим отвернулся, чтоб закурить.

Мог бы дать нам исчезнуть в дыму. Мог спрятать на базе, куда после школы тащил меня, беглянку, обхватив под коленками, закинув на плечо. Металлическая паутина куполом нависала над песочницей — из неё не выбраться, запрещено. Его белая расстёгнутая рубашка была в пыли, волосы и шея взмокли. Я до последнего царапалась, намереваясь распустить ему вены. Как ленты.

Бесит.

— Куда они провалились? — громко возмутилась я. — Уверена, это Ваня...

Рахим протянул сигарету. Растерявшись, я поблагодарила. Крутила её меж пальцев, пока не переломила.

— Ненавижу запах.

Чистосердечное.

Он пересел поближе и взмахнул рукой, чтоб отогнать дым.

— Что было в том рюкзаке?

— Ты ел сегодня? — Тишина. — Купим ещё, — пообещала, будто взяла кошелёк.

От нервов взяла только себя. Чем я пахну?

— Ты в этом платке похожа на верующую, — его шёпот опалил мне ухо.

— Голова грязная, — откровенно назло.

— А помыслы?

Такой довольный. Знает, как со мной разговаривать.

— Ты выглядишь глупо в этом халате.

— Пофиг, я уезжаю в Ташкент.

— Повтори ещё триста раз.

— Давно они вместе?

— Алёна с Ваней? Один день.

— Его отправят в военно-морское.

— Все разъезжаются.

— И Костя?

На корт Костя приезжал на посаженной тойоте, в которой был застрелен его брат-легенда. Тот летал с сумкой наличных: поднялся — и опустился, — на поставках оружия в ЦАР. Подражая ему, Костя откровенно лихачил. Однако стоило мне повзрослеть, как перестал брать на руки. Моя двоюродная сестра

закончила пятый класс, но вопросы о ней я пропускала, как мячи, и Костя от меня отказался: «Все русские — шлюхи».

— Мы не были вместе. Честно!

Нас покусали комары, Рахим расчесал моё запястье. Я пьяна, будто переела винограда. Лицо горячее, глаза напротив — круглые, чёрные.

— Я вспомнил, где достать еду. Если не боишься.

Да, с его лицом положено играть любовников.

— Не боюсь.

В частном секторе лаяли грациозные свирепые доберманы. Мы шли по другую сторону высокого забора. Рахим рассказывал про мужика из Нальчика, что держал двух самоедов. Держал в руках отелей тридцать по региону, а начинал под мостом — с публичного дома «Сауна». Там до сих пор открыта его же автомойка. Рядом с шашлычной, где жарят по специальной технологии: кусочки со спичечный коробок. Женщины — нечистые, не должны притрагиваться к мясу. Десять очков мужчине у мангала! По выходным Рахим мыл машины, и эта незаконная подработка делала его почти недостижимым.

Шлагбаум отсутствовал, но в домике охраны мерцал рассеянный свет. По периметру — малоэтажная кирпичная застройка. Нотариус, ремонт обуви, ивановский трикотаж, бочки из Кавказского колотого дуба. Всё это богатство сторожил семидесятилетний бабник, которого содержала мать: оба славились необъяснимой, раздражающей живучестью. Рахим прошмыгнул на пост, а уже через минуту вывалился из домика, поигрывая ключами: «Аркадий отдыхает».

Неокрепший асфальт проваливался, Рахим то и дело замедлял шаг: засомневался, пускать ли на мужскую территорию? Нас встретила полуголая девица с грудью, какой у меня точно не будет.

Слава Богу, эта сука картонная.

В рабочие часы мойщики трутся возле неё, зазывают бесстыдно, как проститутки за складом игрушек Карена. Все друг к другу приглядываются, но в тот вечер за нами не следили: неработающие камеры нужны для устрашения, а стеклянные глаза брошенных на стоянке машин прикрыты плёнкой тонировки.

Мы могли сойти за мираж: в пыльном городе водителям часто мерещатся автомойки — оазисы с чистой водой. Даже такие, из ненавистных сэндвич-панелей. Внутри мне провели экскурсию: офис, он же комната для клиентов, кабинет директора, три бокса, занавески полиэтиленовые, не все раздвижные. «Не запутайся, а то задохнёшься». В технической комнате стоит поршневой компрессор, похожий на мини-боеголовку. Днём клиенты-шейхи лежат на кожаных диванах, едят сухофрукты и шоколадки. По телевизору им доказывают, что жить лучше в золоте и блёстках, а СПА достойны и женщины, и машины. Шейхи чешут бороды, пока пляжные мальчики сушат пылесосом тканевые коврики. Случайно не опала?

Рахим набросил на голову капюшон халата и принялся хозяйничать. В раздевалке, камерке в шесть метров, гудел низкий холодильник. На пластиковых стульях лежали пачки тряпок и губок. Моет посуду Рахим явно лучше меня. Лет через десять расскажу в интервью, как он ухаживал: то высмеивал, то смущался.

Грубые руки не слушались. Присев на корточки, Рахим засунул голову в холодильник, понюхал чью-то крошку в кастрюле и выругался. Закрыв плечом застывший на дверце жир (вроде, селёдка), перебирал огурцы-помидоры, вертел в руках кусок сыра. Плесень на нём была местная, не французская. Лучший игрок в пионербол, Рахим бросил мне йогурт, но промахнулся.

— Тебя не будут искать? — и дверцей по затылку! Но об этом ни слова. — Любишь сулугуни?

— Всё люблю.

— А дошик?

Доширак для своих, конфеты для гостей, рахат-лукум — под запретом. С него и начнем. Разберёмся за столом в клиентской. Все разборки начинаются за столом. «Да возьми ты пакет! Побросаем в него». Но Рахим крутился, пытаясь оттеснить меня к выходу, а сам тормозил, как Ваня. Если бы не воинственный вид, мог бы сойти за главного школьного м-м-мировотворца.

Да выхожу я! А то дадут по рукам? Ну а вдруг... Вдруг он хотел сделать мойку двухэтажной, обслуживать не приоры, а спорткары, и ездить на все формулы как главный механик. Я могла сказать «всё будет», но нет.

Или да? На веранде парижского кафе будем поливать вафли белым шоколадом.

— Бери помидоры, и нарезку, и сметану... — командовала я. — Потом ограбим банк, как те двое... Как их звали?

Хотела, чтоб он ответил: «Какие у тебя планы!»

Подкрепившись, мы разомлели: Рахим откинулся на спинку дивана, а я ворочалась, пока, осмелев, не положила голову ему на живот. Твёрдость прессы меня устроила. Наверное, там была кнопка, потому что Рахим погладил меня по голове и заговорил.

Где-то с неделю назад заезжал бывший глава района, его раскрутили на полировку, а потом он пропал. Приезжали горцы, которых обслуживали бесплатно... не перебивай... да не было пальцев в багажнике! Наведывался эколог, выступавший против захвата-застройки природоохранных зон. Такой забавный! Трясся над дедовской «Волгой» ГАЗ-21, воскрешал её по частям. Пригласил к себе на конеферму. Ночью все спали, а трезвый Рахим вздрагивал, когда собаки лаяли на шакалов. Московские подсутились, эколога посадили, бизнес его отобрали. На мойке была душевая: чтоб, ополоснувшись, выйти с чистой душой.

«Я их всех ненавижу», — признался Рахим посреди своего рассказа, в разгар глубокой ночи, наступление которой мы проморгали. Вдвоём украли свет, погасили всех. Рахим грыз ногти, мне это не нравилось. На безымянном изложил теорию: людям, которые ничего не изобрели, нельзя носить оружие. Клянусь, он бы заплакал, если б умел.

Исповеди я привыкла наблюдать со сцены. Не могла же я ему хлопать? Похлопала по плечу. Я тут.

— Что значит АД?

Я задрала голову: Рахим был надо мной и подо мной, но не со мной.

— А ну, хватит! — я резко села и вцепилась в его жёсткие волосы.

— Ай! — завопил Рахим, согнувшись пополам. — Ты охренела? Берега попутала?

Я соскочила с дивана и побежала в пустой бокс. У входа висели красные комбинезоны: люди — живая мишень.

За мной гнались.

— Руки за голову!

Я сняла с настенного крепления чёрный шланг и направила на противника пистолет. Красный метровый бак, похожий на школьный огнетушитель, стоял у моих ног.

Рукоять нетяжёлая, или это у меня рука лёгкая?

— Ты кому угрожаешь?

— Вы арестованы.

— Не тот пистолет, — Рахим повернулся ко мне спиной и подкатил к себе ожидавший в углу жёлтый чемоданчик. — Ты держишь пеногенератор, а у меня АВД. — И зачем-то добавил: — Керхер свинью порезал.

Чемодан — не чемодан: к его бокам Рахим подсоединил два шланга. Один вёл в котельную, к насосу, второй был метров десяти. На конце — пистолет с длинным жёлтым стволом.

Нас будто сняли с предохранителя.

Рахим вытащил из ведра щётку для салона, подкинул её до потолка — и выстрелил водой. Пластик лопнул, щётка разлетелась надвое, её чёрные усы упали позади меня.

— Ты выстрелил! — я заливалась от радости.

Мы устроили дуэль на водяных пистолетах. Я лавировала-лавировала, хотя струя и без того в последний момент заботливо обходила меня.

— Получай! — Эхо как в спортзале.

Я поскользнулась на покатом полу — и разрежала резиновые сапоги врага. Рахим выволок из комнаты пакет с продуктами, в воздух взлетел пакет кефира.

В сырости лёгкие хоть выжимай.

Насквозь мокрые, мы залезли в семёрку директора — разбитую бэу, припаркованную в дальнем боксе. У женщин нет прав, но я за рулём. Магнитофон сломан? Нормальный у меня вкус. Нет, диско не для лохов.

Плечи накрыли мягким полотенцем.

— А себе?

— Я не заболею, я же не ты.

Ужасные мысли толпились в моей голове. Я сидела, они лезли.

— Давай уедем?

— Куда?

— Москва, Нью-Йорк... У тебя есть амбиции?

— Я не брошу отца.

Его отца считали пьющим и безвольным: работал на учениях, а в остальные дни приходил на развод и занимался своими делами. Прапорщик, ответственный за аквариум. Но теперь его переводят.

Вдарим по газам!

Мы неслись к морю, стоя на автомойке. Право руля! Проехали поворот. К чёрту эту дыру! Мы врезались в защитную ролету, я ударилась затылком о подголовник. Взыла сирена, Рахим схватил меня за плечи:

— Сумасшедшая!

— Убивают! Режут! — горланила я.

— Тебе не на теннис надо, а в театральный.

Он всегда смеётся надо мной, но смех лечит.

— От тебя можно услышать что-то хорошее?

— Ты поступишь, — Рахим зарядил мне два щелбана.

И поцеловал.

Кажется, так по-человечески мы не говорили никогда.

Дома я улеглась на ковёр прямо в одежде. На подоконнике распустился ярко-жёлтый бутон кактуса. В магазине соврали, что не зацветёт.

— Как пижамная вечеринка? — мама разбудила, приоткрыв дверь.

Стеклянную, прозрачную. В комнате царит порядок, а в голове — бардак. Его не видно.

— Ну что? — С утра не соображаю.

Что ей надо?

Моя удивительная мама не проверяет уроки, не любит тёток из родительского комитета... те пасут детей, как скот. Нет, моя мама воспитывает по-другому: после моего побега из дома она подарила мне «Над пропастью во ржи». Под её присмотром я прочла книгу за вечер, а потом тайком сделала из страниц двести корабликов. На море меня не отпустили, от кемпинга оградили, отправив подрабатывать в единственную в нашем городе библиотеку.

— Как Алёна? Гипс уже сняли? — В одном нижнем белье стройная мама копается в тумбочке, ищет украденную заколку. — Если она снова впарила тебе добавки для вечной жизни...

Я перекатываюсь на спину и закрываю глаза рукой. Волосы матери неприлично длинные. Когда я сбежала, папа грозился вымести ими пол.

— Мы всю ночь чинили комп.

Мой локоть пахнет мужскими духами. Почему апельсиновые?

— А что случилось?

— Ваня — идиот. Скинул фильм с вирусами.

— А тот мальчик с поломанными ушами тебя не обижает?

— Нормальные у него уши.

Рахим не боец, он отличник. Карен или Рубен прочил ему техникум: будет чинить холодильники и сплиты.

— Ты не бойся, наш папа проведёт с ним беседу.

Мой папа — подрядчик, он всяких рахимов, отцов всяких рахимов бригадами увольняет. Я — недоношенная, мой брат погиб в утробе, а маме запретили беременеть после тридцати. От безысходности папа учил меня разбираться в футболе.

— Придурок! — ругался на британского тренера. — Зачем выставять на пенальти чернокожих?! Ты, Жанна, не кривись. Это не расизм, это медицина.

У негров — самая неустойчивая нервная система. У них на ногах — мышцы, которых нет у белых.

— Это какие?

— А он не думает! Нехрен всех равнять! Не будет кубинец работать, как китаец. Знаешь, какое у них оружие? Тяпка!

— Китайцы — математики.

— Потому что их дофига. Но скажи мне, нахрена равнять бельгийца, который красит свой забор, и русского, у которого забор сломан? В моём детстве была шутка «Еврей-дворник». Знаешь почему?

— Они учёные и скрипачи, — покорно ответила я.

— Но еврей — это состояние души, — вставила неортодоксальная мама.

— И евреи не идут на бокс, — разогнался папа, — а кавказцы...

После банки пива: «Бьют».

После ещё одной: «Убивают».

Но Рахим обожает математику, он лучший в задачах на движение. С изобретением машин люди начали спать с теми, кто живёт дальше соседней деревни. В смешанных семьях рождаются самые красивые дети.

Я сижу перед зеркалом, мама заплетает мне косы.

— У меня три пары плюс защиты, — вздыхает она. — Не забудь, вечером фотографируемся на паспорт. Вера на кухне, скажи ей, что хочешь на завтрак.

Я ничего не хочу.

Мне исполнилось четырнадцать, или двадцать, или шесть, или двадцать шесть. А может, я только готовлюсь родиться?

По паспорту Рахим, мать его, Заурович, а я пока без паспорта, пока просто Жанна. Здесь будущее кажется невозможным. Здесь я превращусь в *них*. По пути из школы вижу, как женщины-мулы, красные от солнца, мокрые от пота, тащат продукты с рынка, кормят армию-ораву, смотрят тупые сериалы. Вера без семьи. Из-за моей семьи на её ладонях — шишки, на голенях — синяки. Она готовит нам третий год, с тех пор, как мама взбунтовалась.

На кухне солонка обнимает перечницу. Я подтягиваюсь на руках и усаживаюсь на барную стойку. За окном барабанит дождь, я стучу по дереву, в ритм не попадаю. Музыкальный слух у меня от чёрта, не от Бога, но в школьном спектакле петь не требуется. Достаточно выучить текст на английском. Нас больше, чем ролей, так что золушек четыре, а крёстная — одна.

Была я.

Папа обещал не трогать Рахима, если откажусь от постановки. Школу можно пережить, если представить, что химия — это живопись, а физика — танец.

Долой театр! В нём служат одни дуры. От Москвы все беды, а я ею брежу. Чужие тексты читаю выразительно, свои — от сердца, — пишу с ошибками. Нестрашно, это ошибки сердца.

Я открываю красную раскладушку и набираю номер, сохранённый в контактах. Набираю, зная наизусть. Пробираюсь через долгие гудки, уши закладывает, в раковинах лопаются пузыри. Слышу голос из глубины:

— Как здоровьице?

— Тётя, осмотри меня. Я себе не нравлюсь.

Рахим заразил хрипотцой. Тётя врачует на кораблях дальнего плавания, из каждой поездки присылает вещи, заряженные энергией: руку Хамса, «око сатаны», бронзовую статуэтку Ганеши. Во Владивостоке её ждёт фрегат «Паллада»: осенью поднимет паруса и унесёт в кругосветку. Тётя обречена скитаться: не может сойти на берег, как Деви Джонс из «Пиратов Карибского моря». Её нынешний возлюбленный — госпитальное судно «Разящий», — бросил якорь в морском порту, в трёх часах езды от нас. Папа видел сестру, говорит, у неё отросли щупальца, а сердца нет: отсырело на краю земли. Человеческая форма уходит, меняется. Бездомная тётя была даже на Бали.

— Конечно, приму. Только отцу не говори...

У меня не враньё, а вся жизнь показательная.

Сколько времени? В двенадцать карета превратится в тыкву.

Горячую воду отключили. Вера притащила мешок картошки, пытается включить кофемолку. Сломалась. В который раз слышу причитания, что двадцатый век всех перемолол — и на семейном древе не осталось листьев. На истории об этом ни слова, на биологии тоже.

Я держу чайник на весу, он отчего-то закипает.

— Не выйдешь, пока не поешь, — своим рабочим телом Вера закрывает выход из кухни.

Отказываясь, хватаю кастрюлю с остывшей водой. Держу двумя руками, но вода всё равно льётся через железный борт. Корабль отбывает, жизнь убывает. Не нужен мне паспорт.

— Бандитка!

Вере стоит ополоснуться. У меня хватает ума всучить ей кастрюлю и нырнуть под локоть.

Плющ оббивает наш высокий забор, в проезде соседский мальчик катит детскую коляску, внутри лежат две бутылки питьевой воды. Мальчик замирает, услышав муэдзина. Я сегодня без крестика. Рабочие обедают, устроившись на земле. Они сегодня кладут асфальт. Дорогу в проезде не взрывали, она просто старая. На нашей улице пахнет гарью, в выбоины с щебнем стекает дождевая вода.

Вера кричит с балкона:

— Шас ливанёт!

— Это бьёт жизнь!

Многих бьёт жизнь.

Оставьте Рахима, отстаньте от Рахима. А кто его будет воспитывать?

Я. Сомнения не терзают, но, испугавшись своей порывистости, я мешкаю перед его дверью, тяжёлой, закрытой, непохожей на мою. Рахим сдержан тугими петлями, но я верю, что он не глухой.

— Что с тобой?

Мои волосы — влажные, но он смотрит в глаза. Придерживает дверь спиной, за ней кто-то скребётся.

— Помоги! Я оглохла!

— Из-за меня? — Он поднял бровь, мои взлетели обе.

Кажется, слышу только его.

От боли готова кататься по полу: жалуюсь, жалуюсь, жалуюсь... Рахим встряхивает меня за плечи: не верит, что от майских дождей у местной стреляет в ухо. Что дома никого нет, друзей нет, телефона нет, что тётка обязательно вылечит.

В квартире бьётся посуда и слышится мат. Я порываюсь зайти, но Рахим отталкивает меня и хватает за руку. Мы сбегает по сбитым ступеням, бежим в центр, где мемориал солдатам Великой Отечественной, памятник погибшим в Чечне и православная церковь. Бежим до ворот школы: там сын папиного прораба Артурчика режет ящерицу. Во дворе косят не траву, а наши задатки. На корню.

Рахим отпускает мою руку и вытирает лоб изнанкой футболки, а я тяну его дальше от школы, от отца, тяну на себя. Пойдём со мной, я знаю, кто нам поможет. Потянем время, авось распутаем. Останемся в нейтральных водах.

На автобусной остановке галдят три торговки с клеёнчатыми сумками. Это наши люди? Чушь, наших здесь нет. Я осматриваюсь, чтоб чужие не засекли.

— Это наш автобус взорвали в марте? — гаркает одна в лицо соседке.

— Не, то был «Икарус».

— Вообще-то, — лезет третья, — взорвали наш. А «Икарус» в январе.

Ну извините.

Все вместе толкаемся в советском автобусе: Рахим держится за поручень, а я — за него. Другой рукой он прижимает меня к груди. Я носом бьюсь в его шею. Чувствую, как бьётся жилка. Какая-то жилка внутри меня.

— Рахим!

— Скоро доедем.

— Я хочу на Бали.

Склонив голову, он смеётся мне в ключицу, мажет носом по красной родинке на плече: на жаркий, но не жестокий остров Бали хотят все, кто там не был.

— У тебя даже паспорта нет.

Подумаешь, взрослый! Старше на полгода, с матерью прожил полгода, пока ту не забрали в больницу с аппендицитом. Больница Ипатова — психиатрическая. Аппендицит там не лечат, а вот сектантов — да.

Его матери некуда спешить, а мы едем дальше, вдоль поля поникших подсолнухов. Целая туча подсолнухов! Непогода позади. Мы едем молча, как самые близкие.

Слышится: «Фас!»

Пассажиры нервничают или спят. Водитель бьёт по гудку. Кондукторша — в балетной пачке поверх кружевной кофты, а контролёр — в розовых шортах и блузке в мелкий цветочек. Женщины на службе не знают возраста: поздно молодятся, рано старятся.

Люди прогуливаются по веренице узких улиц — периферии городской кровеносной сети. Дороги в портовых городах будто выходят из моря или сползают с гор. Купив на рынке чёрную кефаль, хромая бабушка выпускает её

с причала. Дохлая рыба не уплывает. Тигры плавают, но на набережной их держат в клетках. На постамент взобралась жена моряка, мальчишки лезут ей под бронзовую юбку. Дети помладше визжат на аттракционах, пускают пузыри, лопают сахарную вату. Я голодна, мне это нравится.

В пятницу днём мужики начинают праздновать выходные: кидают в багажники фейерверки и хлопушки. Лохматый пожилой казак патрулирует общественный пляж, пока его дружинники (по виду — сыновья) отдыхают в парке. Кто в черкеске, кто в кителе, а этот ещё и в орденах! Какие — не понять! Опираясь на парапет, старик с тоской вглядывается в даль: на другой, желанной стороне гавани заново собирают пострадавшие корабли. Цветные контейнеры выставлены на обозрение: их можно подцепить железной клешнёй и поставить на рельсы. Пыльные товарняки отбывают в регионы, разносят соль земли. Я видела её своими глазами, в открытых вагонах, когда мы шли по мосту.

Гудят новоприбывшие балкеры, подле них теснятся танкеры. За мазутным терминалом работает новенький цементный завод. Мы щуримся от такого богатства.

Автодорога выходит из города, петляет в лесах, которые вывозят за рубеж. Меж гор остаются пансионаты, базы отдыха и кемпинги (туда меня не пустили). Одноклассники жаловались на запах солянки и закрытую смотровую площадку: её забрали нефтяники. Их репутация давно в пятнах.

Через мост — база Военно-морского флота. Казак трёт глаза, но отсюда её не разглядеть, только расслышать. Здесь вольная зона, там — закрытая.

Мы с Рахимом успели обсохнуть, но желтозубый рыбак всё равно пялится на меня. Прихлёбывает кофе, распутывает канаты в посудине «Моби Дик».

Название на вырост?

Среди малых траулеров пассажирский теплоход кажется гигантом. Ярко-красный, местами ржавый, он зазывает на морскую прогулку. В кассу — очередь: понаехали из соседних деревень. Сфотографируются — и обратно! Тётя обещала освободиться через час. Счастье, будто дали «Оскар»! Голос из трубки — в моей голове. Эта ясность — то, что нужно в море и на земле.

— Жанна, это глупый план, — Рахим его разгадал. — Реально заболеешь.

— Но ты же хочешь сбежать? Я вижу!

И умоляю.

— Нас вернут, ты уедешь в Москву...

— Заткнись.

Гадости надо говорить громко, не на ухо.

Он обнимает со спины, оплетает мои голые плечи и в отчаянном порыве целует в висок. Это всё корабли! Стоящим на набережной вскружили голову. Мне мерещится, что в море опрокинули весь солнечный свет.

— Отца там повесят.

Облака не пришвартованы.

«Тьфу ты!» — выругавшись, казак кутается в китель.

Налетевший ветер забирается под одежду: мнёт тела, как массажист. Папа считает, не надо уворачиваться. Надо первым бить в морду.

Ветер распахивает пластиковую дверь морского вокзала, её ударом гнёт металлический поручень. Прогулка всего полчаса! Когда оплачиваю билеты, Рахим сторонится меня. Его смуглая кожа не боится солнца, он создан для жарких стран. Вот-вот перепрыгнет ограждение, уйдёт по воде. Сам по себе.

— То была не качурка, — говорит Рахим. — Она не ходит по воде.

— Пожалуйста, не выпендривайся.

«Особенно, когда я похищаю тебя».

— Сыграем в «Казаки-разбойники»?

— Не хочу! — топаю ногой.

Мамочки прижимают младенцев к груди. Поглядывая на нас, качают головами. Пришвартованные лодки качаются сильнее тех, что идут на полном ходу.

Проигрывает тот, кто медлит.

Надежда есть! Я вижу, как неунывающий буксир тащит угрюмую баржу.

Рахим толкает тёплым плечом:

— Давай сыграем! В последний раз.

— Отстань.

— Значит, я выиграл.

Он наваливается на меня, душит собой. Не зря тренировал захваты! Я не пацан, но тоже с кулаками. Жаль, сумка на ремешке — мягкая, тряпичная. Отталкиваясь от Рахима, я вырываюсь.

— Не подходи! — развернувшись, кричу ему в лицо. — Предатель! Ты не можешь бросить меня! Я не такая, как они!

Прорезался голос, он твёрдый, поставленный. Я говорю всем телом, оно трясётся. Впервые говорю за себя, потому что никто, даже Рахим, и слова за меня не скажет.

— Ведёшь себя неадекватно. — Он хватается за ремешок моей сумки и дёргает на себя.

Я на верёвочке.

— Не трогай меня! Трус! Слабак!

Во мне клокочет ненависть, и я воюю за её свободу. Рахим поднимает меня над землёй, перехватив за талию, сдавив живот. Не выдохнуть. Я размахиваю руками, чтоб взлететь, бью пятками по его коленям.

— Помогите! Режут! Убивают!

Гениальная актриса на миг себе поверила.

— Не переигрывай, — хрипит Рахим.

Звучит предупреждение. Это выстрел? Дали сигнал с корабля? Нам туда! Пора! Пора! Но Рахим падает на спину, а я на него. Сжимает зубы, как может. Вообще не может. Какие распахнутые глаза!

— Рахим, не выпендривайся, — я бью его в плечо. — Рахим! Алё!

Меня тошнит. Я чувствую свой язык как инородный, мокрый, склизкий. Чувствую корень языка. Не смогла себя послушаться, теперь слышу только себя.

Чайки кружат над телом, пока его не унесут. В полицейском участке висят портреты пропавших девушек, меня среди них нет. В суде — хаос: протоколы не готовы. «Террорист ликвидирован», — докладывает казак. Надо было кричать:

«Пожар!» Почему меня допрашивают как свидетельницу? Кто выстрелил первым? Я?

Успокойся, все понимают, говорят все, кроме отца убитого. Из казака выбивают подробности, он предстаёт то растерянным, то озлобленным. Доходит до вопля: «Только винят! Что плохое, сразу русские! У всех стран есть проблемы, у малых народов — проблемы. А у русских — нет проблем! Закончились русские! Культура умерла! Дух умер!» Вера бормочет молитвы, казака везут в больницу Ипатова. Грязное здание без ремонта, с решётками на окнах. Охраняется на краю поля, закапывает в чернозём, лечит им. Юг всё лечит.

Я забираюсь в кресло, подтягиваю к груди щупальца. «Шоу через пять минут», — говорят в наушник. Помнится, у папиного прораба (да, Артурчика) было две жены и две семьи: незаметная и незаменимая. Я поступила, мастер взял меня восемнадцатой театральной женой. Мы делились на тех, над кем он смеялся, и кого успокаивал. «Прорыдайся в туалете и возвращайся», — просил он меня. А добрые слова? Где мои добрые слова?

Четыре года я слушала воду и училась изображать любовь. Московские мужчины закатывали истерики. «Вы песчинки, — повторял мастер. — Плаваешь в океане, глядите на звёзды, пока пространство постепенно расширяется». В настоящих тропиках мелкие красные прыщи высыпали на лоб, как туристы на песчаный остров. Надо пересмотреть питание, вникнуть, что за фрукты на столе.

Шоу не через пять минут, шоу каждые сто двадцать минут. Не было вчера: штормовали. В гримёрке смотрюсь в зеркало и вижу своё отражение во втором, третьем. Я в рыжем парике, маскирую лицо. Лайнер идёт на скорости двенадцать узлов. Косы я расплела.

На похороны скидывались дворами, в военной части озаботились ветхостью служебного жилья. Человек жив, пока его помнят или поминают? Прошло больше лет, чем мы были знакомы. Но из некоторых воспоминаний приходится выбираться, как из ямы. Раз в год пересказываю себе тот день, боясь что-то забыть. Боясь припомнить то, что его изменит.

Закусываю за Рахима.

Он заземляет меня. Он — моя земля.

Владислав Резников

Новый мандарин

Рассказ

Пьющая Учительница Физкультуры шла по дороге из переспелых мандаринов. Они уводили её всё дальше от цели маршрута — гимназии № 101, где через пять минут у неё начинался урок в 11 «В».

От дома до гимназии было всего триста метров, два перехода по зебре и один пешеходный бульвар, — не спеша, на всё пять минут. Выйти со двора, пересечь бульвар, мимо бетонного укрытия, войти в калитку с пикнувшим магнитным замком и мигнувшим зелёным огоньком.

«Привет, Оксан!» — сказать, если на охране Оксанка.

«Здоров, алкашка!» — услышать в ответ, или...

«Привет, Мишань!» — если Мишка.

«Привет, Клавунь», — скажет Мишка и будет глазами провожать её зад, пока она не скроется в дверях гимназии.

Давным-давно, ещё школьницей, она спалила Мишку, обернувшись и словив его похотливый взгляд, показала средний палец — не для такого козла в саду ягодка росла. Но ей уже было приятно мужское внимание, хоть и охранника, тогда казавшегося совсем безнадёжным стариканом — ему же почти тридцать!

А что, нормальный зад, улыбнулась она себе, для сорока-то годков с хвостиком — упругий, сильный, — её одиннадцатиклассницы с их рыхлыми ягодницами, отожранными в ростиках, ей завидуют.

«Какой Мишаня, дура? — одёрнула она сама себя. — Мишаня сидел на воротах, когда ты сама была одиннадцатиклассницей!»

Тогда ни калитки железной, ни замков магнитных, ничего этого не было. Это сейчас безопасность, безопасность, — время такое. Тогда просто будка стояла, и он в ней, как пёс сторожевой, — такой вот Мишаня всё ей подмигивал.

Резников Владислав Григорьевич — прозаик, сценарист. Родился в 1978 году в Белгороде. Автор книг прозы «Знаки пустоты» (2015) и «Нутрь» (2015), «Небесный бадминтон» (2022). Печатался в литературных журналах, в т.ч. «Наш современник», «Дружба народов», «Сибирские огни». Живёт в Белгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 4.

Её незатейливый маршрут переломился уже на первом пункте, — выйдя со двора и повернув голову влево, глянуть, нет ли подъезжающих к переходу машин, Клава увидела первый мандарин.

Даже подумать ничего не успела — пошла к нему.

Поднять! Схватить! Мой!

Он лежал один, такой яркий на фоне белого, только выпавшего снега, роящегося в свете утреннего фонаря. Спелый, почти переспелый, такой, знаете, который, когда берёшь в руки, не твёрдый, тугой воздушный шар, надутый так, что страшно дотронуться — вот-вот лопнет, — а мягкий, как...

Нет, не как складчатая ягодица старшеклассницы.

«...Как хомячок», — подумала она и улыбнулась этой мысли. Представила, что если взять его в ладонь и чуть-чуть сжать, то можно почувствовать быстро-быстро бьющееся-колотящееся его хомячье мандариновое сердце! Ей немедленно потребовалось взять его и как можно скорее почувствовать всё это!

Разделявшие их двадцать метров стремительно сокращались, и когда она уже решила подобрать мандарин...

Нет, — замедлить шаг, остановиться, чуть наклониться, чуть присесть и только тогда подобрать — столько действий ради одного действия, — вдруг появились прохожие! Идущие навстречу, идущие рядом, идущие где-то ещё, — их вдруг стало так много! Она же привыкла, что их нет, что никого нет, привыкла никого не замечать.

В самый последний момент она не замедлила шаг, а только с досадой проводила взглядом оставшегося позади рыжего хомяка, махавшего розовой ладошкой, и виновато улыбнулась тяжёлому угрюмому танкеру в чёрном пальто и чёрной шляпе, с которым едва удалось избежать лобового столкновения.

Ей стало вдруг неловко вот так вот просто посреди улицы остановиться, подобрать, забрать себе оброненный кем-то мандарин.

«Что я, божж, что ли? — сказала себе Пьющая Учительница Физкультуры. — Что я, мандаринов себе не куплю? — ответила она себе и зашагала уверенней. — А ведь такие надо еще поискать! — дополнила она ответ. — Такие, чтобы... — Она пожимала в ладони воображаемого хомяка, ощутила биение его горячего моторчика. — Да поняла я, поняла!»

— Передай-ка... — сказала Оксанка и подвигала пальцами в направлении бутылки.

— Тебе всё мало? — спросила Пьющая Учительница Физкультуры, взяла из корзинки мандарин и покатила по столу Оксанке.

— Водки дай, говорю!

Оксанка поймала мандарин и, лениво замахнувшись, не отнимая локтя от стола, залепила точно ей в лоб. Клава повалилась со стула, вместе со стулом.

Они лежали с Оксанкой на полу плечом к плечу и хохотали, радуясь, что это был всего лишь мандарин, переспелый и довольно мягкий, а не грейпфрут или арбуз. Потом сидели спиной к тёплой батарее, допивали нагретый до комнатной температуры мандариновый парламент. От запущенной в лоб

мандаринки оставались две последние дольки, а её вывернутая наизнанку шкура лежала между ног Клавы в форме морской звезды или какой-нибудь амёбы, увеличенной до размеров ладони сорокалетней с хвостиком женщины с упругим задом. Она разливала остатки по рюмкам, как вдруг поставила бутылку и обхватила лицо ладонями. Плечи затряслись. Оксанка молча положила ладонь ей на колено, чуть сжала, легонько похлопала. Пьющая Учительница Физкультуры молча закивала.

Нужный переход на бульвар остался позади, и она решила обойти дорогу по пешеходной зоне, прерывающей бульвар. «Ладно, проехали», — подумала она и больше не оборачивалась на свою случайную и упущенную утреннюю находку и потерю.

Уже перейдя бульвар, она должна была повернуть направо, к гимназии, но снова глянула влево, просто бросила взгляд, чтобы вдруг — ну, мало ли — не столкнуться с какой-нибудь ползущей баржей, убедиться, что тротуар свободен.

Мандарин лежал у самого перекрёстка, перед светофором. Это в противоположную от гимназии сторону. Она не собиралась его подбирать, но... Хм, но что? «Ну как что? Чего он там лежит?»

Она пошла к нему посмотреть, чего он там лежит, не сводя глаз. Когда горел красный светофор, оранжевая в глубоких порах кожа отливала красным, когда загорелся зелёный, стала отливать зелёным.

«Логично!»

И вдруг...

— Рыхлая! — воскликнула Клава. — Она рыхлая!

Она вспомнила это слово и от радости рассмеялась. Не просто мягкая, а такая, что когда начинаешь чистить, протыкая ногтем податливую кожуру, она прямо отщёлкивается от разбухшего от своей спелости мандарина. Как будто кнопочная застёжка на куртке — щёлк, щёлк, щёлк! Как пузырьки воздуха в обёрточной плёнке — хлоп, хлоп, хлоп! Как будто кожа не плотно облегает, а лишь касается его несколькими белыми ниточками, которые только и ждут, чтобы их скорее оборвали! Мандарин внутри этой кожуры — как воробушек, которого держишь в ладони, и тебе нельзя ни сжать его, чтобы не сдавить, ни ослабить пальцы, чтобы не выпустить — так учила она гимназистов, как правильно держать кисти рук во время бега.

У Мишки всегда получалось выбирать как раз такие, и они всегда были самыми сладкими — щёлк, щёлк, рыхлыми — хлоп, хлоп, как пуговики.

— Как ты их именно такие находишь? — вертит его, измятого, налюбоваться не может.

— Эт сорт такой, Клавунь.

Ох уж эта его хитрая ухмылочка!

— Клавдия Вадимовна! Вы с нами? — Лизавета Дмитриевна, директор гимназии, щёлк-щёлк пальцами у неё перед лицом.

Лизка, с которой они по горсточкам отсыпали анашу из коробков её старшего брата и убегали с уроков труда курить за ёлками. Лизка, которую в институте она отговорила делать аборт от случайного студента-итальянца, перед достоинствами которого невозможно было устоять.

— Отчество ребёнку какое запишем? — спросили в загсе. — Отец есть?

— Нет.

— Без отчества писать?

— Пишите Витториевна.

— Как?!

— Витториевна, имя отца — Витторио, — отвечает Лизка, а у самой слёзы из глаз катятся размером с горошины.

— Может, тогда хоть Викторовна?

— Витториевна пишем! — вступается Клава. — Женщина, вы слышите, что вам мать говорит? Горшкова, Николь, Вит-то-ри-ев-на!

Теперь Николь, красавица-дочка Лизкина, четвёртый год подряд носит корону мисс Тот-Же-Университет-Где-Была-Зачата. Или нет, третий. В прошлом году из-за бомбёжек конкурсы все отменили.

Лизка, которая теперь Лизавета Дмитриевна, директор их родной гимназии, почётный педагог города. А она...

— Да-да, Лизавета Дмитриевна, я слушаю. — Клава вздрогнула и вернулась в себя, удручённо сидящую со скрещёнными на груди руками в директорском кабинете, проваливаясь в сон, которого была лишена в ночное время.

Стоя перед зеркалом в ванной, она зашила себе веки, сперва намазав суперклеем, чтобы никогда не открывать глаза, чтобы спать и видеть сон, в котором всё как прежде, в котором они — *все* — вместе. Но потом это стало невыносимо — подменить реальность сновидениями, а тем более чередовать одно с другим, не получалось, и она разорвала нитки. Продрала глаза и ножницами отрезала веки, чтобы глаза никогда не закрывались, чтобы уже никогда не спать и никогда не видеть, потому что так, как было, уже не будет, потому что *их* не будет! Так, как было, никогда не будет.

— Что вы слушаете, Клавдия Вадимовна?! Клав, ну в самом деле? Что с тобой?!

Тут же на стуле сбоку виднелся завуч по учебной работе, Пал Фомич Цуцин. Лет пять назад на новогоднем огоньке Цуцин уснул в учительской без штанов, почему-то со спущенными до колен трусами, а Клава, тогда ещё Не Пьющая Учительница Физкультуры, вместе с Лизкой, тогда ещё *не* директрисой, а учителем истории, украсили Цуцина бумажной мишурой, привесили шар на его короткий обрезанный стручок, вставили в безвольную ладонь и зажгли бенгальские огни, пока он не пришёл в себя.

— Пал Фомич? Здрасьте, и вы тут? — сказала Клава, на что Цуцин только мелко закивал. — У нас педсовет или что-то такое?

Лизка села напротив неё в своё директорское кресло, стала терзать золотую ручку и пристально сверлить Клаву.

— Так, а что... я не понимаю... я что-то вытворила ужасное? — спросила Клава так, словно внезапно очнулась.

— Надеюсь, что ещё ничего не вытворила. Но ты себя вообще давно в зеркале видела? Ты знаешь, как тебя прозвали во всех родительских чатах?

— Нет. Как? — Клава непонимающе смотрела на Лизавету.

Лизавета переглянулась с Цуциным, наклонилась ближе и уже тише продолжила:

— Клав, давно у тебя с этим проблемы?

— Да с чем?! Я ничего не понимаю!

— Клавдия Вадимовна, — робко послышался Цуцин, — в своё время, не так давно, ну, я думаю, вы в курсе, у меня был период, и тоже были проблемы... с зависимостью от алкоголя...

— Что? Вы что, считаете, — Клава прижала руки к груди, беспомощно глядя то на Цуцина, то на Лизку, — что я алкоголичка?

— Ты же даже сейчас никакая! Тебя же рубит, ты спишь сидишь! У тебя язык постоянно заплетается!

— Да потому что я не сплю по ночам!

Клава резко встала со стула, и стул опрокинулся.

— Посмотри на меня! Посмотрите на меня! — Клава провела ладонью перед глазами. — Как мне спать?! Я не могу даже глаза закрыть! Мне нечем закрыть глаза. Потому что если я их закрою, потому что, если я хоть на секундочку усну... Вы знаете, кого я вижу во сне, Лизавета Дмитриевна? Вы знаете, кого я вижу!

Цуцин что есть силы вжался в свой стул.

— Период у вас был? — Клава посмотрела на Цуцина. — А сейчас у меня период! Сейчас у всех период, если вы заметили.

Лиза не смела поднять лицо на бывшую одноклассницу. Только проговорила искусственным голосом:

— Клава, ну зачем так? Мы всё понимаем... Мы же тебе отпуск предлагали. И предлагаем. Сколько нужно... чтобы... отдохни, успокойся... ты не хочешь.

— Отпуск? А переживу я этот отпуск? Не подумали?

Она не собиралась подбирать этот мандарин. Только подойти поближе и ещё раз увидеть, как рыхлая и брызгающая от прокола ногтем кожура меняет свой оттенок с красного на зелёный. Представив эту выпускаемую струю, Клава замедлила шаг и машинально зажмурилась, чтобы от брызг не защипали глаза.

Красный оттенок снова сменился на мягкий зелёный, и кто-то, внезапно обогнавший сзади, даже не снижая скорости, только обдав волной растревоженного снега — хват! — и подобрал мандарин. И так же быстро и внезапно исчез впереди, среди спин и лиц тёмных танкеров в шляпах.

Хват! И она стоит раскрыв рот у перехода с молчаливым вопросом: «А как, а где, а что это было? Это же мой, это же был мой мандарин! Люди, вы видели? Он украл мой мандарин!»

Хват! Рука незнакомца, как стрела управляемого гимназистом крана в автомате по ловле мягких игрушек, навелась и по кнопке — на! — и точно, под попку, под хвостик загнула нержавеющей пальцами рыжего хомяка или воробушка. И теперь ни сжать, ни выпустить его должна рука кого-то, кого она

больше никогда не увидит, да и сейчас он никак не отобразился в памяти — только кисть и голое запястье, выехавшие из верхней одежды, и — хват! — заехали обратно.

Также с открытым ртом Пьющая Учительница Физкультуры стала разворачиваться на нужный курс. Она чувствовала себя ограбленной, осиротевшей, одинокой, обездоленной. Чувствовала себя голой посреди заполненной людьми улицы. Кто-то незнакомый отобрал у неё *всё*. Хотелось сжаться, спрятаться, хотелось плакать. Но больше всего ей захотелось — и от этого желания резко пересохло в горле и лоб покрылся испариной — ей захотелось водки.

— Вот, теперь ты настоящая Пьющая Учительница Физкультуры! — сказала Оксанка перед тем, как отрубиться, когда они допили бутылку мандаринового парламента. — Теперь хоть не так обидно.

— А чего, Оксан, как считаешь, из двух одинаковых отличниц одна вырастает в директрису, а другая в пьющую учительницу физкультуры?

— Ты ещё и Дурная Учительница Физкультуры, а не только Пьющая...

Они так и лежали на полу кухни, уже подложив под головы подушки и укрывшись пледом. Клава на спине, трезво глядя в потолок, Оксана справа от неё, калачиком свернувшись, на боку. Вокруг них расплзлись и застыли пятнами белые мандариновые амёбы.

— У тебя папка кто? — продолжала сонно бурчать себе под нос Оксанка. — А-а-а. Никто. У тебя вообще папки не было. А у Лизки папка кто? А-а-а. Директор универмага. Это же как дважды два, как анекдот про сына полковника и сына генерала. Дура дурой ты, Клава, дура дурой.

Третий мандарин лежал выше по улице, довольно далеко, но было невозможно его не разглядеть — оранжевый шарик на свежем белом снегу. Уже подходя к нему, Пьющая Учительница Физкультуры услышала, что у неё звонит мобильник. По карманам. Главное не выпустить мандарин из поля зрения, чтобы никто... Из школы. Блин!

— Алло!

— Клавдия Вадимовна, здравствуйте! — мелодичный тоненький голосок. — Это Николь Горшкова, практикантка ваша.

А, наша красавица, наша мисс Спортфак-2022! Мисс Белгородские Губы и Ресницы Черноземья-2025! Чао рагацца! Рыхлая мордочка, погружённая в сверкающий снег, на предельно возможной скорости приближалась.

— Эмм... Да, Николь, привет! Что-то случилось?

И вот — то, что требовалось от неё: без раздумий в самом начале пути — резко затормозить, остановиться, чуть наклониться, чуть присесть, по кнопке — на! — стальная рука с растопыренным ковшом игрушку — хват! Встать. А можно не вставать. Можно сидеть, можно стоять, можно лежать здесь, посреди тротуара, на пуховом девственном снегу, одной во всём мире...

— Да, в общем, нет, тут просто урок... уже начался... Мне как обычно? Проводить?

На всей земле, во всей вселенной никого, никаких танкеров и барж, никого, кроме неё и её щёлк-щёлк, хлоп-хлоп! Рвутся белые ниточки! Руки раздирают, и во все стороны разлетаются куски рыхлой, брызжущей оранжевой шкуры! Она задыхалась и с трудом глотала воздух.

— Да-да, начинайте без меня... ну, там, разминка на месте, в движении, пять кругов, мальчишки пусть волейбол...

— Да не переживайте, Клавдия Вадимовна, я всё знаю, я всё сделаю! — Голосок у неё тёплый, ластящийся, как кошечка к лодыжке.

— Да-да, Николь, я скоро буду.

По две, по три дольки сразу она жадно закидывала в рот и наполнялась жизнью. Дольки лопались на зубах, растекались по языку, она кричала и смеялась, жуя и глотая сочную плоть, возвращавшую ей жизнь.

— У вас всё в порядке? Вы как будто задыхаетесь... Вы едите?

Она кивала и глотала.

— Да-да, я уже сейчас...

Потом, потом, Николь, сейчас не могу, сейчас занята, сейчас мне нужно побыть одной, одной во всей... И вдруг Николь, словно тайком, словно прикрыв трубку ладонью с кошачьими коготками, словно озираясь, словно её могли подслушать, словно какой-то пароль или какие-то тайные слова, сказала:

— Тётъ Клав, я маме не скажу. Я всегда вас прикрою!

Открытые глаза открылись.

Не одна! Ты не одна! У тебя есть жизнь, целая жизнь, новая жизнь, новый путь, новый мандарин! Сотни и тысячи новых мандаринов!

Она прикроет! Николька прикроет! Николь Витториевна Горшкова, которая сейчас проводит её урок с одиннадцатым «В», её урок с её одиннадцатым «В», с её юным спортивным задом в её одиннадцатом «В», на который глазел из будки своей Мишаня, для которого, для единственного, росла в саду ягодка, потому что...

— Ты дура, Лизка! Сейчас ты её выскребешь, а потом вообще родить не сможешь!

— Кому нужна я с ней буду?!

— А кому нужна ты будешь без неё?!

Она прикрыла Никольку в её сложный период, а теперь Николька прикроет её. И Оксанка прикроет, да что там, — Лизка прикроет, и этот, обрезанный, прикроет...

— А эти студенты итальянские, они же такие смешные! Им в общежитии выделили блок на четыре комнаты с одной ванной и одним душем на всех, сказали, что этот блок имеет юридическую силу посольства и является суверенной территорией Италии. Так они и поверили, и у них столько гонору было! Любая русская девушка должен гордиться, что им дозволено побывать на кусочек Италия. Я стою, с них ухахатываюсь, а эта, слышь... — Клава легонько потыкала Оксанку в спину, — Лизавета Дмитриевна наша смотрит на него влюблёнными глазами. Ну, думаю, баба поплыла!

— Клав, а ты можешь заткнуться на минуточку? Я щас пять минут посплю и домой поеду, — подала голос Оксанка.

— Не, а там как не поплыть? Все высокие, спортивные, где надо накачанные, где надо стройные, пресс в кубиках, в штанах штуковины их итальянские болтаются. Все как на подбор: волосы чёрные, глазки блестят чёрные, щетина чёрная. Ни дать ни взять Сильвестры Сталлоуни, Рембо Первая Кровь. Свои заклинания выкрикивают. Бонасера, синьёрини! Чао белла! Аморе мио! Там уж как не поплыть?

— Ну а ты-то чего не поплыла? — снова ожила Оксанка.

— А я куда? В суверенную Италию? У меня же Мишаня был уже.

Оксанка тревожно обернулась и посмотрела на Клаву.

— Да нормально, — сказала Клава, — всё нормально.

Помолчала Клава и заговорила, словно вспомнила что-то важное:

— А сейчас Италия нам официально враг. У них и закон вышел о военной помощи Украине. И самоходки, и артиллерию...

— Клав... — перебила Оксанка.

— ...Гаубицы и бронетранспортёры, и вооружение на миллиард евро! И наёмников, наверняка, отправляет, да что там наверняка? Конечно, отправляет...

— Клава, хватит! — Оксанка повернулась к ней, обняла за плечо и потрясла. — Клава!

— ...Может, этот, кто знает, папка Николькин, сейчас ракету наводит на университет, в котором выучился и дочку свою зачал на суверенной территории Италии! Бонджёрно! Аморе мио!

Этой ночью на полу кухни Клава спала без снов, укрытая пледом. Отросли у неё новые веки с ресницами ещё длиннее прежних. Слышала только, как Мишаня тихо походил, чтобы её не потревожить, укрыл потеплее, пособирал амёб с пола, поставил в ведро пустую бутылку, вымыл посуду. Слышала, как грелся чайник. Мишка и Мишка-младший пили чай и тихо смотрели новости. Тихо, чтобы мамку не разбудить. Клава спала и улыбалась им сквозь сон, и слышала — в новостях опять про то же. И нет этому края, и нет конца. Слышала голос Мишани:

— Даже не думай, сын. Ты пойдёшь, — я за тобой пойду! За шиворот из окопа вытащу и домой приволоку! И убью! А мать нас обоих убьёт!

Оксанка вытерла руки полотенцем для посуды, повесила сушиться. Прошла в спальню хозяйки. Возле нерасправленной кровати на тумбочке стояли в рамке два фотопортрета.

На одном улыбающееся, с его постоянной хитринкой лицо Мишани, на другом — как будто его копия, только моложе лет на тридцать, такая же, с озорной хитринкой.

— Спите, мальчики, земля вам пухом. И мамке жить дайте и спать по ночам спокойно, — сказала Оксанка, вышла из комнаты, погасила свет.

Надела свой чёрный форменный бушлат, посмотрела на спящую на полу кухни Пьющую Учительницу Физкультуры с зажатой в руке мандаринкой и вышла из квартиры.

Константин Шакарян

Последнее время

* * *

Колокола звонили по тебе
Или по мне... По ком ещё, по ком?
Колокола водили по губе
Сухим от звона, жёстким языком
И вновь кололи души, как дрова,
И воздух омертвевший колебали,
Произносили вещие слова
И эхом перекачивали дали.

Колокола... А мы с тобой вдвоём.
Звонят они... А мы ведём беседу.
Беснуются... А мы ещё споём
И пустим слово чуткое по следу
Истории, пространства и судьбы.
Ни звон, ни взрыв, ни грохот — не помеха.
...И слижут соль колокола с губы,
Оглохшие от собственного эха.

* * *

В последнее время... А время всегда
Последнее, как ни крути.
В песок утекает оно, как вода,
Песком засыпает пути.

Песчинок его прокопчённых не счесть,
Просоленных вод — не объять.
А всё же последнее — было и есть,
И будет последним опять.

Шакарян Константин Ашотович — поэт, переводчик, литературовед. Родился в 2000 году в Москве. Окончил в 2021 году факультет русской филологии Ереванского государственного университета. Публиковался в журналах «Звезда», «Новый мир», «Дружба народов», «Новый журнал» и др. Автор книги стихов «Новый день» (М., 2024). Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Ереване.

Боюсь оставаться со словом вдвоём,
Коротким и страшным, — война.
В последнее время с тобою живём,
В последние ли времена?

Кто были последними — первыми там
Пребудут по воле Отца...
А время последним останется. Нам
Его провожать до конца.

А время волной вымывает песок,
Песком окаймляет волну...
А время — от гибели на волосок —
Привычно играет в войну.

Последнего времени люди, вовек
С тобой не расстанемся мы.
Последний сгущается на небе снег
Последней на свете зимы.

Весь мир он засыплет на вечный покой,
Весь белый чернеющий свет
И тот — исчезающий, тёмный, большой —
Последнего времени след...

* * *

Нет на кладбище ориентира.
Где тут запад и где тут восток?
Словно ты на обочине мира
Свой затерянный ищешь исток.
Видишь — скопище прожитых жизней
Обретается к праху лицом.
Заросла эта память... Живи с ней
Как живётся — и дело с концом.

Ты — не прожит ещё и не выжат,
Если рвёшь эти травы у плит.
Что тобою на кладбище движет,
Долу клонит и помнить велит?
Сколько сора — почти не земного,
Что уходит корнями во прах,
Новой жизнью подняться готово
На усидчивых этих камнях...

Я стою перед вами во прахе
Меж крестов изнурённой земли.
Запевают незримые птахи,
Муравьи копошатся в пыли...
И сквозь жизнь, что беспмятно длится,
Обращаюсь к ушедшей родне:
«Не скорбите по сущим,
и лица
Обратите из праха ко мне».

Цицернакаберд¹

Зачем же ласточки старались?..

А.Цветков

Ласточкина крепость — Цицернакаберд.
Экая нелепость, Боже милосерд!
Ласточки, летите! Что вам до земли,
До глухих событий в вековой пыли?

Время пролетело, пылью обдало.
Лишь душа о тело бьётся тяжело.
Что там было, где там затерялся след?
Тьма встаёт за светом. Тёмен белый свет.

Ласточек не видно. Небо в облаках.
Солнышко невинно светит кое-как.
Памятника пика тянется на свет —
Векового крика каменный скелет.

Вся земля — могила, Господи прости!
Что происходило на земном пути?
Небо потемнело — тучи залегли.
Что ему за дело до слоёв земли?

Меж землёй и небом оборвалась нить.
Памяти не требуй — нужно дальше жить.
Памяти хватило на музейный зал.
Вроде отпустило. Вроде всё сказал...

Вся земля — могила. Небо ни при чём.
Вспоминать — не в силах. Помнить — обречён.
Ласточки куда-то улетели прочь.
Небо виновато прячется за ночь.

¹ *Цицернакаберд* (ласточкина крепость — с армянского) — мемориальный комплекс, посвящённый геноциду армян 1915 года.

* * *

В.

Догорают наши впечатления,
Брошенные прожитому в печь.
Что от них осталось? Только *тление*.
Слово рассыпается и речь.

Истлевают чудные мгновения
Меж останков радостных минут
И часов счастливых...

Тем не менее
Жизни нашей ходики идут.

Разными ведомы циферблатами,
Врозь друг с другом тикают не в лад.
Может быть, ещё сохранны атомы,
Что в себе прошедшее таят?

И в атомистическом строении
Наших судеб, слитых на ура,
Отложились — при разъединении —
Память двуединого добра?

Дай-то Бог... Рассчитывать на что ещё?
Прошлого похрустывает лёд.
Времени ледовое побоище
В душах наших всё ещё идёт...

* * *

Язык доводит дальше Киева —
Пути не выдумать печальней.
И Киев тот, и языки его
Меж молотом и наковальней.

Приверженность к серпу и молоту
Не сберегла от горших бед нас.
И ныне быть уже расколоту
Тому, что не союз, но этнос.

И ны... не быть? За ны убитые
Звучаний тех не распознают.
Земля, земля — могилы, плиты и
Опять могилы прорастают...

(Ах, эти скользкие созвучия,
Что не дают пробиться к теме,
Мелодикой своею мучая
В угоду ритменной системе!..

Они нугою смыслов тянутся,
Звуча и горестно, и вязко,
Покуда с тихим *навсегданыща*
Не завершится наша сказка.)

Условимся: не дальше Киева.
Не выдаст Бог, язык рассудит...

Солдат уходит — и ноги его
На всей земле уже не будет.

* * *

У Бога живы все,
А мы живём убого,
Не белкой в колесе —
Синицею в руках.
Вся жизнь от сих до сих —
Не мало и не много,
Чтоб уместиться в стих,
Не рассыпаясь в прах.

И горе — от ума,
И даже строки эти,
Упругие весьма,
Да полые внутри.
Стиха прядётся нить
У праха на примете.
Да что там говорить...
А ты не говори.

На свете счастье есть,
Безвольно-беспокойно,
Оно — про нашу честь,
Меж прахом и стихом.

А то что рядом с ним
Не вирусы, так войны,
О том не говорим.
Не будем о плохом.

Когда б вы знали, из
Какого сора — Боже! —
Сбивали сотни изб
По матушке Руси!
А сор — не выносить.
(Всегда — себе дороже.)
Да что тут говорить...
Молчи — не выноси.

Как носит нас земля?
Кто взял нас на поруки?
Куда ведут, пыля,
Последние пути?..
А где-то журавли,
Не пойманные в руки,
Скрываются вдали
У неба взаперти...

Александр Барбук

Злые боги полей и могил

Рассказ

Сегодня, сейчас — то же самое, и почти каждый раз. Ночью со станции — домой, один, в пустую квартиру. Поднимаешься на лестничную площадку, достаёшь ключи и отчётливо слышишь, как там, в глубине комнаты, раздаётся стук и чудятся мягкие собачьи шаги — мой ротвейлер спрыгивает с дивана, чтобы встретить меня у порога, виляя хвостом.

Однако я знаю, что Дойч лежит в лесу. Приблизительно в километре от дома. Под тремя елями. Я сам его там похоронил. Лет десять назад.

Но по-прежнему Дойч — мой охранник, мой сторож.

И пожилой отец, живущий на юге, до сих пор прибегает к помощи нашего пса. Вечером, пробираясь по лестнице вверх во мраке заплёванного подъезда, если слышит он вдруг подозрительный шорох или чьё-нибудь нечистое дыхание, говорит в темноту: «Дойч, рядом!.. Дойч, спокойно!..» И звенит ключами, как звенел здесь когда-то металлический ошейник-строгач. Каждый вечер в гиблом районе на окраине города кого-нибудь шарашат, режут заточкой из напильника, могут убить ни за что.

Но никто никогда не обидел отца — не забыта ещё чёрная тень собаки, скользившая под окнами печального девятиэтажного гетто. Не забыта история, как однажды в соседней татарской деревне на улице Каранфиль огромный баран угрожающе близко приблизился к маме, и как Дойч бросился и убил животное, перекусив посредине спины крепкий бараний позвоночник.

К сорока с лишним годам после долгого самокопания я точно определил, за что я люблю людей и за что не люблю.

В человеке должна быть нежность.

Всё остальное — неважно. Всё остальное — *слюбится*.

Потому что нежность всему виной — любому поражению, любой победе.

Барбук Александр Владимирович — прозаик, сценарист. Родился в 1970 году в Симферополе. Учился на филологическом факультете Симферопольского государственного университета и на отделении прозы Литературного института им. Горького. Лауреат VI Международного литературного Волошинского конкурса за рассказ «Чёрная аптека». Живёт в Симферополе и Подмоскowie.

Я не знаю, сумею ли завершить эти мои записки и где-нибудь напечатать. Десяток неоконченных романов, повестей и рассказов лежит в картонных коробках мёртвым грузом.

Всегда удивлялся, когда мои приятели прилюдно объявляют: «начал роман о том-то...» или «заканчиваю в родной деревеньке Передрюево эпохальную повесть, в которой...»

А если не закончишь?.. А если не напишется?.. А если, наконец, выйдет дрянь? Есть в тебе хоть капля суеверия, страха, панического начала?

Нет, всегда заканчивают. Всегда выходит.

И редко когда не дрянь.

Никакой же тайны нет, правда? Никакого риска.

Смотрю кинокомедию «Не упускай из виду» с Пьером Ришаром. Фильм, который видели с мамой в Евпатории, год приблизительно 78-й, после 1-го класса. Пригород Евпатории, военный санаторий, куда достал путёвки дедуля, почти что ночь, летний кинотеатр, морской ветер с Каламитского залива. Четырёхразовое питание, солдаты, служившие садовниками, горы гнилых водорослей на пляже, солоновато-горькая вода из-под крана, которую невозможно пить, безденежье (на всём сэкономили), беспощадные комары (огромные красные растекающиеся пятна), дневник внеклассного чтения, его нужно было заполнить впечатлениями и рисунками (общая тетрадь с зелёной обложкой — всё большей частью делала за меня мама, и от этого мне потом долго было стыдно). Помню, как мама пыталась учить плавать, как я боялся моря, боялся маму, когда она вдруг стала делать это слишком резко (мамин отец, мой второй дедушка, научил её, девочку ещё, плавать просто — столкнув с лодки). Нет в живых теперь ни дедули, ни мамы, ни её отца, ни её младшего брата Владимира (умершего в прошлом году; я ни разу не видел его). Старая добрая кинокомедия тянет вместе с собой грустный ряд картин; не могу уже нырнуть в неё с головой, как раньше. Помню до сих пор словечки и фразы из этого фильма, которые мы так любили повторять. Наверное, можно было выбрать другой фильм, а не этот, — смеюсь и одновременно страшно. Однако тянет. Места вчерашнего счастья и сегодняшней боли, почти что ужаса. И вот всё это кружится и танцует под застрявший в башке идиотский мотивчик вечеринки в весёлом поезде — композитор Владимир Косма. Режиссёр — Клод Зиди.

Всю ночь, будто ожидая какой-то гостыи, исступлённо драил свою холостяцкую квартиру.

А под утро присел в кухне у окна, закурил, задумался, засмотрелся невидящим оком на странное свечение алюминиевой воронки от развинченного кофейника, и вдруг как-то предельно ясно понял, что сегодня умру.

Ни страха, ни жалости. Спокойное, будничное озарение: спор проигран.

За эти несколько лет полной свободы ни разу не пожалел о своём решении.

Но спор проигран. И это уже очевидно.

Откинулся на спинку стула, достал из пачки последнюю сигарету и одними только губами и кончиком языка, по твёрдому фильтру в виде пропеллера на срезе узнал немецкий West. Давно уже, несколько месяцев, из-за безденежья

и двух неоплаченных больничных кредитов не могу покупать себе сигареты. Но после больницы, после разных процедур и новых таблеток, после всех этих фокусов с накачкой кислорода прямо в кровь я стал испытывать настоящую табачную ломку. И я придумал один несложный приём. Я брал эту самую пачку, шёл на станцию и около часа прогуливался вдоль перрона, встречая и провожая московские электрички, в которых ездили теперь не просто пассажиры, а доноры сигарет.

Я щёлкнул зажигалкой, глубоко затянулся, выпустил струйку дыма.

Это последняя в пачке, а значит, скоро опять на станцию, по сигареты.

Меня предупреждали. Мне говорили. Я только отмахивался. Я работал тогда в большом офисе крупной компании. Узнав о моём решении уйти, уйти в никуда, начальник сказал: «Слушай, тебе сороковник, не надо. Прошу тебя. В сорок — уже поздно. Ты полюбишь одиночество, бедность, своё чёртово человеческое достоинство, ты станешь гордиться шрамами, но это не принесёт тебе счастья. Ты разучишься жить среди людей: унижаясь, ты начнёшь, чувствовать себя униженным. Ты разучишься умирать каждый день ради жизни в целом. Не один ты такой, полуребёнок-полуподросток. Многие, слишком многие не могут понять, что с ними случилось. И хорошо, что у них нет времени думать об этом. Мы все должны искать только одного — забвения. Искать в нужном месте, в самых мёртвых пластах нашей жизни, в работе, в тупом изнуряющем душу труде, а не там, куда ты собрался. Думаешь, ты один такой? Десять из десяти таких, как ты, потерпели поражение. Только не говори, что ты будешь одиннадцатым. Система десятизначна. Пять из десяти, пожелавших вернуться к прежней жизни, уже не смогли адаптироваться и погибли. Так устроена жизнь. Вспомни свои выходные дни — субботу и воскресенье. Вспомни, как всего за два дня ты начинаешь чувствовать приближение ужаса, кошмара, медленно сходишь с ума, потому что забвение становится не таким прочным, забвение даёт течь, забвение пропускает воздух, — но потом снова понедельник, ты успокаиваешься, и так до пятницы. Так мы живём. И если хочешь жить, — умри, стань роботом, функцией, выключателем самого себя. И тогда система даст тебе немного времени и немного денег. Ты дождёшься старости и увидишь внуков. Но целиком выйти из неё невозможно. Тебя ждёт поражение. И пожалуйста, не говори потом, что ты лучше других, потому что ты хотя бы попробовал. Свобода — это говно! Иди, жри свободу! Потом расскажешь, как тебе было весело!»

Бараний рог сизого дыма величаво разворачивается над моей бритой головой. Я внимательно слежу за фигурой, гадая во что она превратится и что она будет для меня обозначать. Бараний рог превращается в бумажный свиток, спустя секунду свиток становится похож на неприличный цветок с фотографии Нобуёси Араки, затем цветок становится хомутом, а хомут — венком, и уже венок, значение которого мне неинтересно, начинает распадаться и превращается просто в ничто, в пелену домашнего кухонного тумана. Ночь за пыльным стеклом медленно сходит на нет, хотя небо за все эти ночные бдения так ни разу и не потемнело. Это Север, к которому ты так и не смог привыкнуть. Это северная природа, платина июньской ночи.

Когда-нибудь это случится. Почему не сегодня?

Сегодня будет хороший ясный день. И завтра тоже. И послезавтра.

Земля прогрелась, подсохла, легко поддаётся копке.

Ещё никому не удавалось взглянуть на лица тех, которые поднимут, а затем опустят твою крышку.

В одном современном словаре я прочитал: «Забвение — устаревший термин для обозначения утраты информации из памяти».

Докуривая сигарету, вспомнил о дочери и подумал, что через несколько дней, когда меня уже не будет, она войдёт в кухню и застанет всё то, что сейчас вижу я: этот развинченный кофейник на вафельном полотенце, бритвенные приборы, сложенную посуду.

И я вдруг представил себе, как она разрыдается, и от этого неожиданно почувствовал что-то вроде облегчения. И ужаснулся этому.

Она далеко, она не успеет, и это хорошо. Ей всего тринадцать. Ей не нужно видеть подробности, ей не следует участвовать в этой странной мистерии с погружением лодки на дно.

Она войдёт в эту кухню через неделю, увидит стопку чистых тарелок, прочищенные части гейзерной кофеварки и, главное, эти бритвенные приборы.

«Дорогая моя, любимая девочка! Когда ты получишь и прочтешь это письмо, меня уже не будет рядом с тобой. Мы уже не сможем встретиться, гулять в парке, бросать друг другу мячи, ходить в зоопарк смотреть на слонов или кривляться перед зеркалом. Помнишь, как мы кривлялись? Мы складывали губы в виде пятачков и делали вид, что мы — свинки. Ничего этого, к сожалению, уже не будет. Это и многое другое останется только в воспоминаниях. И мне бы хотелось, чтоб эти воспоминания не мешали, а помогали тебе жить дальше. Помогали быть уверенной в себе, спокойной и любить меня тихо, бесслёзно, без боли в сердце, так, как будто я рядом и в любой момент мы сможем встретиться. Пишу это именно потому, что сам я не сумел жить правильно после ухода моих близких, потому что с уходом каждого из них — дедушки, бабушки, мамы — какая-то часть меня отлетала в их сторону, становилась мёртвой и жила не тем, что действительно было нужно мне и нужно им, а жила пустыми воспоминаниями о них.

Я испортил свою жизнь.

Моя жизнь превратилась в одну сплошную скорбь о них, в пустые мысли о том, что всех нас ждёт такое же, и вместо того, чтобы идти вперёд, я как будто замер, застыл в одной точке. Поэтому я пишу. Я хочу, чтобы ты избежала этой ошибки. Мой уход не должен мешать тебе жить. Я не желаю отнимать у тебя ни одного дня твоей драгоценной жизни. Пусть воспоминание обо мне и наших днях будет только светлым и беспечным, как весенний ветерок. Этот ветерок буду я. Я буду всегда рядом. И я буду счастлив только тогда, когда счастлива будешь ты.

Твоя чудесная мама рассказывала мне, что несколько лет назад, когда тебе было около шести, ты спросила её о смерти, и она ответила: смерть — это сон,

из которого не возвращаются. Твоя мама очень умная. Тебе повезло с ней. И мне повезло, что когда-то я встретил её и много лет был с ней счастлив. Она сказала тебе правду. Это только сон, и, думая обо мне, ты должна думать так, как будто твой папа просто спит в соседней комнате, или ночью в соседнем городе. Ему не больно, он ничего не боится, он просто спит. Я думаю, что именно так оно и будет...»

Лишь бы нашли вовремя. Лишь бы не по запаху. На этот случай у меня была договорённость со старой знакомой. Она звонила каждый день и проверяла. У неё был ключ, у неё были все телефоны и адреса электронной почты. Она всё сделает. Она не подведёт. «А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток», — вспомнил я строки, которые так любил повторять К. — один из моих профессоров в далёком южном университете, человек яркий, необычайной жизненной силы и на вид — почти что бессмертный из-за львиного облика, так схожего с обликом бога Зевса.

После смерти мамы я забрал у отца Дойча. Ему было уже лет двенадцать, он с трудом ходил, тянул задние ноги. У меня ещё была жена, терпевшая меня. Он летел в деревянной клетке, сколоченной мною накануне ночью, летел в багажном отсеке Ту-154. Я не хотел отдавать его в багажный отсек — совсем маленький, тёмный, нельзя было разогнуться, я боялся, что пёс либо задохнётся, либо умрёт от страха. Но работник аэропорта, попросивший помочь запереть клетку, сказал: «*Не бойсь*, я сам недавно так бесплатно летал». В самолёте я откупорил бутылку белого портвейна и, никого не стесняясь, просто плакал. Мы совершили посадку в Шереметьево-1. По балкону я бежал вниз к багажу. В зале стояло множество снятых с ленты чемоданов и сумок, там же была клетка с моим псом. Он вилял обрубком хвоста. Меня встретил американец, поэт и выпивоха Мишка Иглин, у которого в соседнем доме была комната в коммуналке. Я, пьяный, достал из сумки пилу, распилил клетку и пнул её ногой. Культурный Миша сказал, что это не комильфо, и отволоч клетку куда-то к мусорникам. Мы сели в такси, поехали на Сходню. Я сказал водителю: он не укусит. Таксист ответил: у меня самого ротвейлер. Дома нас ждал свежий борщ. Я налил Мишке и себе по тарелке и навалил борща Дойчу в его родную эмалированную миску, которую привёз с собой в багаже. Потом сходил в хозяйственный, купил точно таких же досок и реек, которые выкинул в аэропорту, саморезы, скобы, сел на пол, взял пилу, молоток, отвёртку и соорудил для миски подставку. Таковую, чтобы мой пёс не наклонял голову во время еды, а миска бы не вываливалась. Эта подставка и эта миска хранятся у меня до сих пор. А Дойч прожил почти до пятнадцати лет. Когда дело стало совсем плохо, кто-то посоветовал: езжайте в Химки. Там есть бородатый врач — вы узнаете его, — он берётся спасти любых собак. У него самого — старый седой ризеншнауцер. Железный стол, ветеринарная клиника в Химках. Бородатый врач пытается вытащить Дойча с того света. Я рядом, помогаю, придерживаю морду и шепчу ему что-то на ухо. Я чувствую запах из его ушей — это ни с чем не сравнимый, мой любимый запах ушной серы ротвейлера, моего ротвейлера. Дойч умер, но после укола в сердце и каких-то манипуляций врача, вдруг ожил. Всего на минуту. Он стал дышать, двигать

лапами, но потом умер второй раз. И уже мёртвый, в судороге, разодрал до крови зубами мою руку. Обратно мы снова ехали на такси. Я — в салоне, он — в багажнике, в чёрном пакете. Дома я вытянул его из пакета, положил боком на подстилку. Целое полчище блох, о которых я не подозревал, покинуло мёртвое тело и набросилось на меня. Позвонила жена, спросила: «Вы дома?» — «Дома». — «Всё нормально?» Я ответил: «Нет. Приезжай». Она приехала. Он лежал в комнате, как живой, на своём привычном месте. Из коридора она ласково позвала его. Он не встал. Она зарыдала и бросилась его обнимать. Потом спросила: «Что с твоей рукой?» Я не ответил. С моей рукой всё нормально. Теперь я знаю тайну. Даже после смерти твоя собака сохраняет полезные рефлексy. А значит, ничего не изменилось. Смерть относительна. Дойч продолжит нас охранять. Позже примчался с лопатой на своей «шестёрке» безотказный Боря Голкин. Мы поехали в ближайший лес. Три сросшиеся ели возле берёзовой аллеи. Два букета цветов, свежий холм из глины. В конце я прошу жену и Борю оставить нас наедине. Я становлюсь на колени, я рыдаю, как мальчик, и прошу у него прощения. Я бил его. Иногда ногами. Так велел инструктор служебного собаководства, когда мы учились ОКД и защитно-караульной службе. Это ротвейлер. Либо ты показываешь, кто вожак стаи, либо вожаком станет он — и собака будет потеряна. Но это враньё. На самом деле я пинал его, потому что он не вовремя просился на улицу. Потому что тянул поводок. Потому что после очередного мануального терапевта у меня адски болели спина и шея, или просто случалось дурное настроение.

И вот осень. Осенью обычно я езжу на родину, на юг.

Я оставляю пустую квартиру.

У меня нет теперь ни жены, ни собаки.

Мне некого больше мучить.

Я — вожак стаи, состоящей из одного животного.

И теперь у меня только прошлое.

Я вспоминаю непрерывно. В самолёте я тоже вспоминаю. Мои одноклассники. Я помню их всех.

Кого-то уже нет в живых, кто-то спился бесповоротно. Я делаю вдруг открытие, что все, кого нет в живых или кто спился окончательно, — все они — из тех, кого укачивало в автобусе в первом классе по дороге в село Перевальное, когда мы ехали осенью на первый школьный пикник.

Не укачивало только Муратти.

Он пил и стал бездомным от гордости и самолюбия, красавчик Муратти — благородный Атос нашей четвёрки. Кто был четвёртым — не помню.

Зато помню по алфавиту весь список из классного журнала. Время от времени ниоткуда, как слова стихотворения или мелодия старого шлягера, ко мне прилетают слова давней школьной переключки.

Эта скрипящая шарманка в моей голове, в заднем отделе черепа, чуть слева, чуть снизу — я чувствую, что все они гнездятся где-то там, — начинает прокручивать мне мозги:

Аникин.

Барбук.

Бардин.
Белградов.
Беленькая.
Бондаренко.
Бромберг.
Ванеева.
Деревягин.
Диденко.
Жуйков.
Карпович.
Кешешьян.
Кретчак.
Куликовская.
Ланских.
Лосева.
Марченко.
Меньшиков.
Муратти...

— Ты не узнаешь его, — говорит Сушилов. — Он стал не похож на себя. Мы едем с Сушей на чёрном субару в гости к Муратти.

В двадцати километрах от города — село Пожарское. Долина реки Булганак, пасутся коровы, их доят в оцинкованные вёдра прямо тут же, на траве.

Когда-то здесь стояла неприступная скифская крепость Палакий, упомянутая Страбоном. От неё ничего не осталось.

Мы подъезжаем к дому татарина, у которого Муратти теперь батраком. Пасёт овец, смотрит за хозяйством, имеет за это свой угол.

Нас встречает хозяин; в тенистом дворике сидят под крышей ажурной беседки и пьют кофе с восточными сладостями его почтенные родители. Они курят. Татарская поговорка гласит: «Бир каве, бир тутун — зезфет бутун» — «Чашка кофе, трубка табака — вот и весь бал». Они кланяются нам, мы кланяемся старикам. Видно, что это ухоженные, счастливые старики. Никто из них не умрёт в одиночестве, в запущенной квартире на окраине города, как один за другим умирают мои товарищи и как, возможно, в скором времени доплыву я сам.

В этом доме, в этом уютном мирке простоты и неброского величия не представляют, что смерть — всего лишь зловонный запах на лестничной клетке. Соседа, не востребованного родными или друзьями. Соседа, две недели лежавшего на полу с телефоном в червивой ладони.

Муратти нет, надо его позвать, пошёл на соседнюю улицу в гости к теще — единственному близкому человеку. Мать умерла, жена умерла, — все умерли.

Со старенькой тещей они пьют коричневый самогон из просроченных шоколадных конфет.

Это правда, его не узнать. Бронзовый загар на изменившемся лице, он старик. Мой одноклассник — старик. Но старик по-прежнему гордый и даже надменный.

Владимир Лидский

Два рассказа

Братья по смерти

...ей страшно было зайти, но — зашла, ткнула дверь и зашла, в сенцах стоя, топталась, дрожала, а и по-прежнему страшно, — ладонь потела, сжимая смертоносную сталь, и холодок влаги щекотал спину... кто там? услышала, вздрогнула и... решилась: рванула дверную ручку и переступила порог, а он сидит там внутри, а перед ним стол, а на столе миска, а в миске каша, и он кашу ест, хотя не ест, нет, не ест — жрёт, и тут она заходит и говорит: у вас дверь не закрыта, а он говорит: тебе чего, детка? а она говорит: смерти твоей, вот чего, и сжимает рукоять пистолета, а он говорит: не делай этого, детка, зачем? что я тебе? а она говорит: иуда ты, вот чего, — а пистолет тяжёл, трудно его поднять, но надо же тяжесть такую одолеть, чтобы убить жирную жадную жалкую жабу, и она, скрепясь, вздымает оружие и, качнув рукою, жмёт на спуск... такой грохот! и дым, похожий на сизый туман, ползёт по хате, и пороховая вонь медленно вплывает в ноздри, а человек за столом, даже не успев вскрикнуть, валится лицом в кашу, в драгоценную перловую кашу, которую не всякому в конце сорок пятого года можно было сыскать; так смерть и нашла Гапея, а убийцей была детка, Петруся, пятнадцати лет, пришла и наказала предателя, а кому ещё было наказать? некому, ведь погибли все, — мог наказать, правда, Салажонек, — фамилия его была Салажонек, ну, не героическая фамилия, да, а что делать? родился с такой фамилией, стало быть, и живи с ней, а геройство не в фамилии, геройство в жизни, которая дадена тебе одна, и попробуй-ка стань героем в ней, ежели ты и не бойкого десятка, а скорее, против того — робких свойств; у Юрася был младшой брат Генусь, отрок, их так и звали все — Юрась и Генусь, а отца звали Агей, ему было пятьдесят, он Юрася поздно родил, а Генуся и того позже; в сорок первом, весной, Юрасю как раз вышел срок в армию идти, его и призвали, взяли в Лиде, а повезли в Минск, а из Минска

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Постоянный автор «ДН». Публиковался в журналах «Знамя», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Бишкеке.

куда-то в пригород, не знамо куда, вот там часть его стояла до двадцать второго как раз июня, — ты же знаешь, сказал дед, двадцать второго там всё и началось... не спутал Салажонков? смотри, не путай их: отец Агей, старшой — Юрась, младшой — Генусь, такая была у них семья, а мать померла родами третьего, коему и имени-то дать не успели; вот, стало быть, Юрася призвали, и он в артиллерию попал, — призвали в апреле, и он служил до июня, изучая орудия и специфику стрельб, а там и черти в крестах летят с бомбами внутри самолётных животов, — разбомбили Лиду, Барановичи, Желудок, к Минску летают, а наши стремительно откатываются, и вот они уже за Могилёвом, за Оршей, за Витебском, и последний бой наш Юрась принял перед Москвой, — там рота была, командовал ротой лейтенант Шумов, и их уже давно трепали, от роты человек семьдесят осталось, стояли у деревушки какой-то, в поле, на линии обороны, там были окопы, блиндажи, укрепления и заграды; день был морозный, туманный, серый, — тягачи подъехали, расчёты, попрыгав с кузовов, отстегнули орудия и перекатали их; едва стали, замаскировавшись, как кто-то ахнул: танки! командир сказал: к бою! и каждый номер быстро сделал свою работу — сорвали чехлы с дульного тормоза, казённого и прицела, наводчик вставил панораму в *корзинку*, открыл окно в щите, другие номера развели в стороны станины лафета, откинули правила и опустили нижний щит... танки шли шахматным порядком, семнадцать танков, пехота шла с ними, у наших же — восемь орудий и снарядов мало, — так трое суток бились и посекло всех: пехота легла навек, наших парней осталось пятеро при одном орудии, лейтенант погиб, все погибли, даже сержанта ни одного не осталось, зато и фрицев побили; там было так: перед последней атакой сорок минут лупили орудия; наши, кто остался, сидели в окопах, ад был кромешный, гром, грохот, грязь, химическое зловоние от взрывающихся снарядов, земля тряслась, летели рои осколков и комья замёрзшей почвы, а потом — снова пошли танки, девять стальных чудовищ, — девять осталось, — девять взбесившихся псов, рвущихся неудержимо вперёд, грязных, заляпанных торфом, горячих, как огонь преисподней, и наши стали наводить пушки, жечь лязгающих сталью монстров, а иные парни, — если танки, неудержимо несясь, вгрызались в позиции, — выскакивали вперёд и бросались с гранатами под них, — трое бросились, другие бились, и вот уже их осталось два десятка, потом полтора, потом десяток, и вот рухнул в месиво торфа Ходжакулиев, славный парень, всегда угрюмый и молчаливый, и Санукян, вёрткий весельчак, пал за ним, и Потапов с Пронченко, и мальчонка Скурат, сын полка пятнадцати лет, подобранный в развалинах Орши, — все пали, ткнувшись в смешанный со снегом торф, раскинувшись среди снарядных гильз, и вот, солдат — пятеро: Сидоров, Коган, Смальцов, Абдуллин, — и Салажонков с ними, — все бьются, не сдаются, стоят на огненном рубеже и держатся впятером полтора часа, и только два танка уже осталось у немца, и пехоты человек двадцать, и наши последние силы теряют, а враг идёт и идёт, а парни стоят и стоят, не давая ему спуска... проходит время и вражеской пехоты нет, кончилась, и один только танк крутится по полю боя, пытаясь прорваться, но и наши полегли, — Смальцова с Абдуллиным накрыло осколками, Сидорову разворотило грудь, а худенький Коган последовал примеру смертников, бросившись с гранатой под танк;

и Юрась остался один, и он теперь не просто один, а один на один с танком, и танк в своём безумии не признаёт маленького солдата, прёт вперёд и не хочет считать его значимой преградой, но у Салажонка остался снаряд, единственный, и им надо с умом распорядиться, — Юрась истерзан и ранен, в левой руке у него два осколка и кровь залила всё тело, но он не сдастся, разве может он сдаться? — танк рычит, извергая фиолетовый выхлоп, лязгает гусеницами и несётся по полю битвы, Юрась торопливо берёт снаряд, скользкий и мокрый, — такой тяжёлый, что невозможно поднять, — на двух руках кое-как переносит его и, уже выбиваясь из сил, заряжает оружие... наводит, ещё наводит, доворачивает ствол пушки, чуть-чуть опускает и... стреляет! — танк несётся и словно бы выскакивает из-под снаряда, вырываясь вперёд... перелёт! мимо! — Юрась садится на землю и в изнеможении падает вбок, но тут танк замедляет ход и на тихой скорости подходит к орудию, сметает его и затихает... у Юрася ничего нет, ни автомата, ни пистолета, он гол перед танком, танк видит это и медленно начинает наступать... Юрась встаёт, пятится, поворачивается, бежит, а танк за ним, — Юрась бежит в сторону леса на востоке, уже ни на что не надеясь, но инстинктивно бежит, танк следует за ним, и так они крутятся, пока Юрасю не становится ясно: конец, всему конец... он поворачивается к танку и говорит, злобно плюнув: твоя взяла, ссучка! — танк молчит, тихо урча движком, ждёт, как хищник, собирающийся прыгнуть на жертву, и вдруг медленно-медленно сдвигается с места, ползёт, наползает, теснит Юрася, и Юрась пятится назад, ступает мелко, сторожко и... падает в траншею — прямо на тела погибших солдат! — танк, зайдя сверху, утожит землю, ссыпает бруствер, желая раздавить маленького бойца, но не достаёт до него; Юрась ползёт по траншее, пытается спастись, и попадает руками в холодную сталь... всматривается — под ним перепачканный торфом и землёй *дегтярёв*! схватив его, Юрась прижимается спиной к стене траншеи и ждёт... лязг металла, тихий говор и на бруствере появляются два танкиста... Юрась лупит длинной очередью и успевает заметить, как один из врагов бросает в него гранату... грохот, комья земли и куски льда, а потом — медленно наползающая темнота... и спустя три дня две сестры милосердия находят Юрася, случайно заметив его едва дрожащую руку в засыпанном землёю окопе...

...и вот он лежит на койке и, открыв глаза, сквозь муть, рябь и серые сумерки видит: подходит сестричка, садится в ногах и говорит: с воскресеньем, солдатик! из тебя горсть железа вынули, как ты не помер-то? — он хочет что-то сказать, шевелит губами, но лишь слабый хрип исторгает его саднящая глотка и слеза скатывается по небритой щеке... сестричка является всякий день, несколько раз на дню, делает перевязки, уколы, возится с ним, и он уже в состоянии улыбнуться и даже сказать одно-два коротких слова... время идёт, и он идёт — на поправку, ему всё лучше и лучше, он выздоравливает, и руки-ноги на месте, только голова гудит, раскалывается и отказывается думать, проваливаясь временами в пустоту, а время идёт дальше, оно не может же не идти, хотя и стоит на месте, и вот он уже сел на койке, а потом встал, а потом и пошёл, а потом даже зажал свою медсестричку в углу, и она подарила ему поцелуй... это жизнь! он выжил!

...чего нельзя сказать о Генусе с Агеем, которые двадцать шестого июня ушли в лес, а с ними ушли ещё десятка два лидчан, и девочка Петруся ушла, — родители её работали в Хрустальной на стекольном заводе и явились в Лиде как только начались первые бомбёжки; здесь жили их старики, — и их тоже забрали, да вовремя: двадцать шестого они ушли, а двадцать седьмого немцы заполонили город, — уцелевшие в бомбёжке дома заняли под гестапо, госпиталь, гебитскомиссариат, в типографии сделали тюрьму, а в замке — лагерь для пленных, начались облавы, поиски советских работников, но в пущу немцы боялись заходить, опасаясь сюрпризов, и правильно делали, хотя у новоявленных партизан и было-то — две берданки на всех, но Агей, ставший во главе беглецов, хорошо понимал: надо выживать, а чтобы выживать, надо действовать, и стал действовать: взял Генуся и ещё одного парня — Осипа Крупика, вышли они из пущи и сели в кустах, за обочиной тропы, — две берданки, три пары глаз, уйма времени и ещё более терпения, день просидели — ничего, другой день — ничего, а есть-то нечего, что с собой взяли, подъели; стало быть, надо и впредь сидеть в кустах, карауля удачу, — третий день сидят, четвёртый сидят, а толку нет, колонна только прошла — машины, мотоциклы, и что с ними делать? две берданки — не оружие, а лишь несерьёзный юмор, как с берданками против автоматов? итак, — на пятый день слышат дребезг и видят вскорости на тропе худого одра, телегу и двух фрицев, телега гружёная, накрытая дерюжкой и тихоходная такая, что еле ползёт, тут наши партизаны и сделали стойку: двумя выстрелами стёрли фрицев со свету, завели конягу в лес и меж деревьев быстро-быстро двинулись в чащу, но как стало невмочь завалы объезжать, стали и заглянули под рогожку, а там! хлеб, мясо, крупа... удача! да ещё двумя *шмайсерами* разжились; распрягли лошадку, взяли её под уздцы и пошли в лагерь за подмогой; так стали партизанить и оккупантам вредить, — по первости было нелегко, потому что всякий день следует есть, пить и утверждаться в зимней пуще, а потом ничего, обвыклись, еду научились добывать, оружие и даже снесли с городскими подпольщиками, работавшими на обувной фабрике «Ардадь», где немцы устроили авиацеха, — там был один Емеля по фамилии Капачель, и ещё Петя с Колей, коих фамилии не упомяну, сказал дед, — так они сделали магнитную мину втихаря, вняв просьбе Агея, и Агей с Генусем, прокравшись в депо, прилепили её к паровозу, который готовился ради перевозки состава с немецкими войсками, и таким знатным салютом отметили партизаны проводы состава, что его грохот слышен был и в Хрустальной, и в Тарново, и в Белогруде, — по всей Лиде фрицы бегали, как тараканы, а сделать ничего не могли; в другой раз городские решили взорвать электростанцию, и Агей со своими людьми способствовал им, — четырнадцатого марта сорок третьего года электростанция взлетела на воздух, и здесь грохот превзошёл даже шум уничтоженного паровоза, улетевшего к чёртовой матери, — так они воевали и много ещё подвигов свершили...

...а старшой Агея, Юрась, лежал тем временем на госпитальной койке, выздоравливая, и уж совсем пошёл на взлёт, думая даже, что вернётся скоро в строй и будет дальше крошить врага почём зря, только была одна препона, которая *звалась Татьяной*, — медсестричка, которая за ним ходила... ну, да что

делать, придётся, стало быть, расстаться с Таней, ибо когда Родина зовёт, Таня отодвигается, — не вовремя влюбился! а и Таня влюбилась, пошла как-то к кастелянше, взяла у неё ключ от кастелянной и говорит Юрасю: пойдём со мной, солдатик, и Юрась встал с койки и пошёл, а она привела его к одной двери, отперла и говорит: заходи, видишь, тут есть, где полежать, и они зашли и любили друг друга, а потом Юрась говорит Тане: поедem со мной после войны в Лиду, покажу тебя отцу, брату и соседям, поженимся и станем жить-поживать, добра наживать, — так они и женихались, пока Юрась брал уколы, терпел перевязки и обмывку ран, а в один день проснулся утром, видит — сидит на краю его койки медсестра Таня и говорит: доброе утро, солдатик! — он говорит: доброе, Таня! — а она говорит: я не Таня, я — Надя, и Юрась смотрит на неё озадаченно, с неверием и думает: что это со мной? — тут Таня-Надя даёт ему бумажку, в которой начертано: *комиссован по ранению, предписана демобилизация и отбытие по месту жительства*, Юрась смотрит и говорит: приеду, стало быть, за тобой после войны, станем жить-поживать, добра наживать, Таня; а она смотрит на него с удивлением и повторяет: я Надя! куда мы поедem? никуда мы не поедem! ты чего, солдатик? — и так они сидят оба, недоумевая, и глядят друг на друга...

...а в Лиде тем часом является Гапей, помнишь ли Гапея? спрашивает дед, — тот самый персонаж, которого детка Петруся навсегда в архив сместила, — он был пришлый, родом из-под Львова, — в восемнадцатом году пришёл... является, словом, Гапей и идёт в пущу, — Гапей был лесник, охотник, и советская власть поставила его в свой час над лесом надзирать; он был ещё не стар, но как немцы вошли в Лиду, так и состарился нарочно, дабы подозрений ненужных не иметь: вырастил бороду, наподобие писателя Толстого, волосы длинные, чтоб, на лоб падая, скрывали весёлые глаза, и не мылся, чтоб выглядеть грязным стариком, а то немцы бы его спросили: чего ты, мол, не в армии? не шпионишь ли часом за гебитскомиссаром, чтобы убить начальство и торжествовать? — жил он скудно и малость голодал, потому что все в Лиде голодали, кроме, конечно, гарнизона оккупантов, и вот, голодая, надумал он идти в пущу для добывания еды, он же охотник, но с берданкой нельзя, немцы сразу его к ногтю приберут, как это так — советский гражданин, хоть и старый, с оружием в руках по городу идёт? ну, он берданку и не думал брать, она у него в огородной земле в промасленной ветоши покоилась, а смастерил несколько капканов (на зайца), пошёл в пущу, расставил капканы да и ходил всякий день, проверяя — нет ли в капканах зайчатины — голод утолять, долго ходил и столько серых ушастых надобывал, что даже обменивал их у немецких солдат на табак и соль, так как в Лиде страшный солевой голод был, — просто не было соли в Лиде, и жители её, кое-как выжившие пока и не попавшие до времени в гетто, жевали свою скудную пайку без соли, — у кого было что жевать, а Гапей стал прямо уважаемый, знаменитый, пресловутый, достославный и достопамятный, ведь он зайца добывал, мог продать или обменять, вот ему лидчане все свои жалкие бирюльки и спустили, а немцы его уже и товарищем величали, не в советском смысле, конечно, а в смысле — соратником и другом, он с немцами покуривал на досуге, а они ему шептали: что, пан Гапей, не желаешь ли в *Schuma*? то бишь в Шуцманшафт или, лучше сказать, — в *охранные команды*,

а он говорит: не, невозможно мне, несподручно, хлопотно, я же старый, мол, винтовку не смогу держать, да и слеп я почти как кротовый должитель, — тем и отмазывался, не желая в полицаи идти, ибо понимал: вернутся Советы — так сразу и повесят, и — ходил в лес, промышлял зайца, небрежением своим оскверняя лестные предложения фрицев да гансов...

...Юрась между тем всё ещё был в руках врачей и, лёжа в койке, бредил сутками, — все думали: помрёт, что в госпиталях, где бойцы всякий день мрут, не новость, а скорее обыденность, тем более что из него вынули осколки, да кое-что не вынули, так как не смогли, но вдруг к удивлению врачей температура его спала, он пришёл в себя и даже поел казённой каши, а сестричка Таня (Надя?) причесала его и сказала: сто лет жить будешь, солдатик! живучий ты, чертяка! — он ободрился и с того дня выздоравливал: сам ходил до ветру, гулял во дворе и строгал деревянные палочки ножом; так ободрился, что добыл карандаш, химический, клочок бумаги и написал письмо отцу: *дорогой папа Агей Сильвестрович как есть я твой старшой кровный сын Юрась хочу отписать тебе что давеча был ранет и ранетый болел а нынче здоров почти здоров и даже влюбился в медсестру Таню с коей Таней хочу предстать перед твои строгие глаза ты уж благослови нас на жизнь мы станем вместе век коротать может и детей наживём а ты благослови мамы нету хоть ты благослови Таня хорошая сверх ожидания выходила меня смертного мы с ней дружно заживём я только сначала на войну схожу буду изводить немца пока не изведу и потраплю приехать не смогу а потом как фашистскую гниду истребим возьму Таню приеду к тебе ты жив будь а уж мы приедем и ты благословишь а то благословить то больше некому мамы ж нету у нас а ты благословишь и мы заживём тебя как отца будем почитать и в обиду как постареешь не дадим твой сын навеки Юрась и имени твоего я не уроню;* тут он свернул бумажку в треугольник, посплюнул карандаш и написал: *город Лида улица такая-то дом такой-то в собственные руки Агею Сильвестровичу коли жив жду ответа как соловей лета,* а на обратной стороне треугольника, снова посплюнув карандаш, вывел: *лети с приветом вернись с ответом,* а потом собрался и, получив предписание, снова ушёл в поля сражений, — явившись к командиру сказал: служил и буду служить Советскому Союзу, определите, мол, куда следует согласно военной и фронтовой необходимости, но командир посмотрел, как-то скривившись, и говорит: какой же из тебя вояка, в осколках весь, кого только присылают! и определил его в кухню полевую, — Юрась смертельно обиделся, но виду не дал, понурился да и пошёл на кухню кашу для бойцов варить и на побегушках батальонному повару служить; судьба, впрочем, была ему иная: немец налетел как-то, разбил кухню, убил повара, убил комбата, других бойцов убил, и Юрась взял автомат и пошёл с теми, кто остались ещё, в атаку — высотку штурмовать, и был героем, потому что воевал как герой, рвал врага зубами, и взяли же высотку наши ребята, а Юрася к медали представили, — хорошая медаль — «За отвагу»; правильно дали, отважный парень отважно воевал, и не ради смерти причём, а ради жизни, вот он и выжил, до Праги дошёл, почти дошёл, сидел под Прагой в траншее и ждал боя, и все ждали, а ребята устали, прикорнули в земляных закутах, сморились, уснули, и Юрась уснул, видит сон, во сне Таня — целует, обнимает его, а потом отстранилась и говорит:

в атаку, солдатик! в атаку! и чувствует, как кто-то его тормозит, пытаюсь разбудить, и орёт в ухо: в атаку! ура! бей фашистских гадов! и он просыпается, а траншеи нет, бойцов нет, автомата нет, он лежит в постели и вокруг — привычная обстановка госпиталя, а в ногах сидит у него Таня (или Надя?), он рвёт на груди госпитальную рубашку, потому что жар мучит его и силится куда-то бежать, но Таня держит его и говорит: в какую атаку тебе, какое ура? лежи себе, ты же раненый, и он лежит, не понимая жизни, а Таня гладит его руку и что-то шепчет...

...а Гапей в то время как раз шёл в пуше, собирая зайцев, — одного собрал, другого, третьего, а было у него пять всего капканов, он идёт и думает: где же ещё два? что-то не вижу, и так брёл-брёл — за сосну, за вяз, осину, дуб и вдруг понял, что пропал, — заблудился, дорогу потерял, даром что лесник, знаток и толкователь пуши, а вот же! плутал, плутал, а уже и смерклось, ну, думает, всё! придётся, знать, в лесу уснуть, — он, впрочем, не боялся леса, хоть и понимал, что тут, в пуше, росوماхи часты, а всё же не хотелось, но спасибо, что лето тёплое стояло, можно было, не опасаясь замёрзнуть, уснуть где-нито на лапнике, и он уже место искал, чтобы уснуть, и думал себе: хорошо бы уснуть, устал же, пора и уснуть, — и вдруг что-то хрустнуло вдали и как будто огонёк мелькнул, — присмотрелся Гапей, а там, впереди, маячит нечто, — ну, всё! росوماха! ещё всмотрелся: ан, нет, не росوماха, ведь росوماха сразу учуяла б его, а там — нет, там некая жизнь была; он дальше пошёл и видит: люди! — так партизаны стали на его пути, то был отряд Агея, и его узнали, ибо Лида городок маленький, невзрачный, и все, кто в польское владычество пивал пиво Мейлаха Пупко, знали друг друга, как родня, — приняли его в отряд, он говорит: хочу воевать, тоже буду воевать, отомщу оккупантам за наш городок, мы жили мирно, а они пришли, а мы их не звали, а они пришли, явились непонятно зачем, хотят нас истребить, земличку нашу позабрать, чтоб мы голодали, а они чтоб нашей бульбой радовались, такое не пойдёт, такого не будет, а мы станем воевать их, стирать со свету нашею могучей дланью, чтобы им неповадно было впредь; и стал воевать, такой сделался вояка, что хоть сейчас к ордену и на доску почёта, — двух немцев даже убил в стычке у водонапорной башни в депо, и Агей ему сказал: как будет связь с Большой землёй, так представление к награде и выпишу тебе... что награда! думал Гапей, просто кусочек металла, вот еды бы! а то совсем скудно жили партизаны, — добудут что, на всех делят, а отряд большой уже, народец нет-нет прибавается ко мстителям, — отряд, кстати, и назвали — «Мститель», — вот тебе паечка мизерная и достается; голодали бойцы, и Гапей пошёл к Агею да и говорит: так и так, мол, разрешите, товарищ командир, зайца добывать ради пропитания, ведь я же могу капканы ладить и поимка зверей — моя, дескать, *компетенция*... командир удивился и говорит: вас ист дас компетенция? немецкое, что ли, слово? ты где немецкому-то учился? — не учился я, молвит Гапей, а просто словцо это в воздухе витало; дали ему, стало быть, разрешение на зайца и стал он опять в пушу проникать, да так глубоко, что заяц просто косяком пошёл, как рыба в нерест, — бойцы радёхоньки, Агей Гапея приветчает и называет интендантом, в шутку, конечно; и вот они воюют: то караул немцев на станции Поречаны порешат, то, взрывчатки добыв,

Лидский бензосклад на воздух пустят, то зерна в Бахматах награбят, а к зайчатине привыкли, вот Гапей как на работу в пушу и ходил и раз даже оленя добыл, ведь ему в отряде хороший винтарь дали, а потом собрался раз в пушу и говорит детке Петрусе, которую родители с Хрустальной забрали: пойдём-ка со мной, детка, поможешь зайцев таскать; и пошли, и даже далеко не ушли, а шли, покуда Гапей не сказал: устал что-то, давай отдохнём, — и лёг в траву, а трава мягкая, шёлковая, сухая, прохладная, детка тоже легла и давай смотреть в кроны деревьев, выслеживая взглядом птиц, но тут почувствовала руки Гапея, суетливо бегавшие по её телу, и топоток пальцев, пытающихся расстегнуть тужурку... она сбросила руки, а он полез ей в штаны, и тут уже она вскочила, но и он вскочил, схватил её, повалил и стал рвать с неё одежду; она стала вырываться, выкручиваться, но он придавил её телом и, пытаясь обездвигнуть, ударил кулаком в лицо... детка закричала, хотя кричать-то в партизанском лесу — не лучшая мысль, но закричала, и её услышал кто-то из бойцов, — Гапея взяли за шиворот, встряхнули, связали руки бечевой и отвели к Агею, а он посадил его в землянку и часового нарядил; бойцы сказали: расстрелять! потому что есть законы войны и нам такой партизан в обиду будет, — другие бойцы сказали: нет, исправим его, он советский человек, — а командир Агей сказал: какой он советский человек, он польский буржуй и при поляках звероферму держал, удивлюсь, если у него в огороде золото не скрыто, — что же ты тогда думаешь за него? спросили бойцы, — думаю за него: казнить! сказал Агей, — это паршивая овца, она на нас позор влечёт, — и постановили — казнить, но оставили до утра, стыдно же было своего убивать, и Агей всю ночь думал-терзался: может, дать спуску ему, авось, исправится, а коли не исправится — просто изгнать, думал, думал и ничего не придумал, а утром глядь, а пленника и нет, выполз, змей, из землянки, сокрушил часового и был таков; пытались искать его, да где там! и след простыл, и вонь исчезла, в другой день бросили искать, и всё! пропал Гапей, а Гапей, как уж потом прознали, вернулся в Лиду и напрямик направился в гебитскомиссариат, зашёл к гебитскомиссару и спустя пару дней повёл отряд головорезов из *Дирлевангера* к месту партизан; шли ночью и пришли к рассвету, когда небо уже серело... сняли часовых, взяли в кольцо и открыли стрельбу, — всех убили, кто в орешнике спал, и лишь детка Петруся, вставшая за миг до вторжения ради детской необходимости, оказалась за плотными кустами бузины, — притихла, сжалась в комочек и смотрела, а немцы пошли по землянкам и вынули из них ещё семь партизан, в числе коих были Агей с Генусем, на которых сказал слово, указуя пальцем, предатель Гапей; пятерых убили, а Гапея с Генусем поставили столбиками фронтом и стали осыпать бранью, кидать сучья и комья земли, а потом вперёд вышли два ражих немца, самые здоровенные из всех и стали избивать пленников... они уж на ногах не стояли, но фрицы встряхнули их, подняли и привязали к деревьям, чтоб не падали, и тогда уж офицер немецкий поманил Гапея пальцем и сказал: вот тебе парабеллум, убей-ка их! тут Гапей от ужаса речь утратил и головой замотал: нет, мол, нет, не могу я! но офицер и слушать не стал, всучил ему холодную сталь и жестом показал: давай! — что делать? пытался, пытался Гапей и видит: он сам под дулами оружий, поднял руку, а рука-то дрожит, он тогда ближе подошёл, чтоб не промахнуться, сначала

в Генуся выстрелил, потом — в Агея, повисли они на верёвках, а немцы стоят, гогочут, и офицер, подошедши к убийце, похлопал его по плечу эдак снисходительно и сказал: карашо, маладес, гут, зер гут, а Гапей чуть не обмочился со страху, едва удержался; собрали фрицы оружие и ушли, а детка Петруся вжалась в землю и думала даже вкопаться в неё, — так вот с ума и сходят, сказал дед, — видел ты сумасшедших, которые с войны свихнулись?

...долго ли коротко ли, прошло время, и немцев в сорок четвёртом погнали, а там и май сорок пятого, Победа, наши стали с войны возвращаться, и Юрась вернулся, пришёл в Лиду, а там и нет никого: ни брата, ни отца, ни знакомых, евреев вообще под ноль извели, — звери, изверги, пусть прокляты будут убийцы, насильники и грабители! — явился Юрась, а дома нет, — разбит немецкими бомбами Юрася дом, доски обугленные лишь остались да железяки скрученные, — делать нечего, пошёл Юрась угол искать, укryвише хоть какое, жить-то надо, вдруг непогода, и забрёл в школу, где недавно ещё гебитскомиссариат стоял, нашёл комнатку, бросил сидорок на пол, вот и подушка, вот ложе, будет где теперь ночи коротать, ну, и бродил по школе, в бумагах рылся, — много бумаг осталось от немцев, не успели пожечь, — читал-читал Юрась со скуки приказы немецкие (хороший учитель был у него до войны, силезский немец, маленько научил его по-немецки) и вдруг попался лист: так, мол, и так, посредством лесника Гапея уничтожен и развеян в прах отряд партизан, коих личности все почти известны благодаря найденным в отряде бумагам, такой-то там был, такой-то и такой-то, а командовал ими Агей Салажонок, и сынок его, Генусь при нём был, застрелены которые лично лесником Гапеем, за что означенному леснику выданы в вечное владение комплект немецкой формы, два мешка муки и пуд соли... на что ж ему пуд соли? спросил я, адресуясь к деду, — а на что! сказал дед, — продавал, надо полагать, не было же соли в Лиде... прочёл Юрась лист, и кольнуло что-то в сердце его, а Гапея он помнил и дом помнил, где тот жил, — пойду-ка гляну, сказал себе Юрась, может, жив кат, так я его казню, — взял пистолет свой и пошёл, — приходит, ба! жив-здоров скунс и благоденствует, хата чистая, хлебный дух есть, стало быть, не голодует, а всё же потягивает гнильцой откуда-то из подпола, — думает Юрась: миновала же его месть измождённого и измученного советского народа, — поднял пистолет и выстрелил в предателя, — Гапей едва встал и пуля попала ему в грудь... смотрит Юрась, а Гапей стоит себе, даже не поморщился, дыра в груди у гада, а ему хоть бы что, стоит, смотрит, хоть бы хны, не чихнёт — не пискнет, Юрась снова тогда поднял пистолет и пальнул, — прямо в сердце вошла пуля, а предателю — ничто, нету ущерба для него, тут Юрась струхнул, потеряв решимость, но скрепился и опять пальнул, — в этот раз пуля врагу в глаз попала, выбила глаз, а тому опять ничего, стоит, ухмыляется и говорит: не старайся, брат! — Юрася перекосило аж, затрясся парень и орёт: какой я тебе брат? никогда мы с тобой братьями не будем! — а тот ему тогда говорит: остынь, брат, мы с тобой по смерти брата, — как по смерти? говорит Юрась, — да просто, говорит Гапей, я же мёртвый, — как мёртвый? говорит Юрась, — а так, говорит Гапей, ты меня не убьёшь, меня уже убили, — детка одна, Петрусей звать, зашла в хату и говорит: у вас дверь не закрыта, а я говорю: тебе чего, детка? а она говорит:

смерти твоей, вот чего, и сжимает рукоять пистолета, а я говорю: не делай этого, зачем? что я тебе? а она говорит: иуда ты, вот чего, вздымает оружие и, качнув рукою, жмёт на спуск... вот и не светит тебе меня убить, я мёртвый, опоздал ты, и могила моя на католическом кладбище — сразу за каплицей, под восточной стеной, сходи глянь, тебя впечатлит, а и ты, впрочем, мертвец, только твоё кладбище далече, ты же на госпитальной койке помер, не оправился, не выздоровел, помер, — осколки-то вынули из тебя, но смертушку не одолели, вот мы теперь по смерти и братья, вечно тебе теперь возмездья алкать, да не утолится оно и пребудешь ты в неутолении вечно... встал Юрась покрепче, утвердился духом и выстрелил себе в грудь! а смерти-то нету для него... тут сел он на пол в хате предателя, схватился за голову и заплакал...

Артефакты

...и, посмотрев в глаза Гловачу, сказал: должок, пан Гловач, а проценты уж оставьте себе, — на что Гловач хмыкнул и насмешливо качнул головой; дед сунулся в карман, вынул увесистый ремингтон и ненавязчиво покрутил стволом; убьёшь меня? спросил Гловач, — убью, сказал дед, — а кровь? спросил Гловач, — без нас приберут, сказал дед, — я тебе сниться буду, сказал Гловач, всякий день стану приходить, — я не привык дневать, сказал дед, и ночью без снов, а тебе сдохнуть, и вся недолга! хочешь в яму? червей кормить? — нет, сказал Гловач и, достав бумажник, бросил его на пол, деду в ноги, — я не гордый, сказал дед, могу и поднять, — и поднял; посчитав деньги, прибрал их, а потом стволом ремингтона отодвинул полу пиджака Гловача и слегка постучал по жилетному кармашку с часами; Гловач икнул и вынул часы: пана Хоскевича часы, сказал он, чистое золото, лучшая антикварная лавка Лиды, — знаем, небось, сказал дед, забирая часы, — шестьсот рублей, сказал Гловач, рублик к рублику, — пан Шломо не любитель злотых, а тут — он ткнул пальцем в часы — рубины, сапфиры и бриллианты, — вы всё равно более задолжали, сказал дед, сливая в ладонь цепь часов, — это ваше мнение, сказал Гловач, — до видзэня и чёрта вам в пятки, сказал дед, — и вам, сказал Гловач, здоровьчика на короткую жизнь, — дед спрятал ремингтон и покинул купе; сказать по чести, он сам создал пат и сам же оказался под патом, ибо косвенно способствовал явлению Гловача в Лиде; Гловач был аферист, но и дед был не менее аферист, и то, что он делал в Лиде, осталось в анналах Лиды: он строил училища, больницы, давал деньги беднякам, — не ссужал, а просто давал, одновременно брал ссуды в Банке Польском, в Кассах Стефчика и в Почтовой сберегательной, а в тридцать первом поехал в Варшаву и уболтал начальство ради строительства канала Лида — Балтика, то есть Гданьский залив: мол, район Лида — Гродно — Скидель забогатеет при канале и большой порт сделает Лиду центром торговли, производства и большого туризма; в Варшаве на деда смотрели с подозрением, предполагая в нём сумасшедшего, но он упорно ходил по инстанциям, терпеливо ждал приёма в присутствиях, доказывал, убеждал, заваливал начальство схемами, чертежами,

Надя Делаланд

Мой свет

* * *

и море и гомер застыли и сияют
я маленький корабль в тумане голубом
плывущий между звёзд печальные земляне
на разных языках трещат между собой
вот так вот плыть и плыть не чувствуя щекотки
от крошечной возни и вспышек тут и там
от африки ступней до лёгочной чукотки
проходит боль с тобой приходит пустота

* * *

ты как йо-йо тебя отбросишь
а ты опять в моей руке
печалишься о чём-то просишь
на непонятном языке
нет избавленья нет разлуки
есть только ты и я и боль
к тебе протянутые руки
и жизнь вручённая тобой

* * *

свет маленькая девочка в метро
рассматривающая бледный шарик
перекати его ладошкой тронь
щеками лбом ушами

Надя Делаланд (настоящее имя — Надежда Всеволодовна Черных) — писатель, литературный критик, кандидат филологических наук, практикующий психолог, генеральный директор центра арт-терапии и интермодальной терапии искусствами «Делаландия». Родилась в 1977 году в Ростове-на-Дону. В 1998 году окончила филологический факультет Ростовского государственного университета. Автор шестнадцати книг стихов, романа, книги для детей и пьесы. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве.

свет этот человек во тьме двора
смотрящий в небо отразивший небо
взлетающий легко как умирать
когда ты не был

свет женщина идущая домой
тяжелая с уставшими руками
бормочущая яся как ты мог
но нет не упрекаю

свет маленький котёнок у ворот
переступающий и опустивший щёки
марина его утром заберёт
ну да ещё бы

ты тоже свет я вижу в тебе свет
на мой похожий думаю такой же
мой свет в опознавание и родстве
серёжа

* * *

жизнь после смерти легка и проста
страшно прозрачна пуста и чиста
смерть после жизни тиха напросвет
жизнь после жизни конечно же смерть
мы улыбаемся солнце горит
сердце уже ни фига не болит
можно случайно коснуться рукой
смутно припомнив кто ты не такой
нежно припомнив о боли и лжи
смерть после смерти конечно же жизнь

* * *

главное каждый раз произносить это как в первый раз
как в тот первый раз когда мы бежали из
гробов восклицая не веря себе что Господь наш Спас
воскрес из мёртвых а значит и мы спаслись
главное возвращаться в ту точку и из неё
громко срывающимся голосом от восторга
детским совсем сообщать что сердце моё
поёт потому что оно не выдержит столько
радости молча отсюда и до небес
выше небес и выше Христос Воскрес

* * *

когда воскресает очень хочется есть
и пить да пить пожалуйста и лежать
просто лежать почему-то руки дрожат
язык непослушен вот так благая весть
ангел сияющий белый стоит над душой
фонендоскопом слушает тишину в груди
шепчет кому-то над эхом да у него шок
ещё что-то стирает со щёк говоришь отойди
на плохо гнущихся словно чужих ногах
шатко проходишь семь небольших шагов
прямо у выхода прямо у входа ага
сходит с небес огонь и это любовь

* * *

Человеку кажется, что он делает выбор,
он сидит с опущенной головой,
спрашивает марьвселенную: можно выйти?
артистически держится за живот,
хмурит брови, прикидывает, смекает,
плачет, жалуется: я не могу ничего,
закрывает глаза, ненадолго но замолкает,
засыпает и видит, как выбор сделал уже его.

Евгения Савва-Ловгун

Когда расцвёл шиповник

Рассказы

Кукушка

«Всяк кулик своё болото хвалит, ночная кукушка дневную перекукует, не родись красивой», — крутится в голове.

Стою у окна, за окном дома, а за ними Тымь — широкая, величавая, спокойная на первый взгляд. Кормилица наша. Где бы ни была, какие бы реки ни видала, моя Тымь всегда казалась красивейшей из всех виденных.

«Тымь всё равно шире! И сильнее! А рыбы в ней знаешь сколько наловить можно? Не унесёшь! А сколько душ она забрала, ох... не перечесать».

Раннее утро, туман неспешно бредёт по реке, теряя обрывки ваты. Быть может, это души умерших людей уходят потихоньку на восток. Они уходят медленно, чуть касаясь воды, раздеваясь по пути, оставляя здесь всё ненужное, лишнее...

А там, за рекой, кукушка: ку-ку, ку-ку, ку-ку!

— Кукушка-кукушка, сколько мне жить?

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку...

Голос её то удаляется, ослабевая, то вновь приближается, усиливаясь. Поднимаю кружку.

— Дааа, много... Больше ста... Ну спасибо!

Допиваю чай, наливаю вторую кружку. Кружка у меня эмалированная, ручка её оплетена гибким шнуром от капельницы. Горячий чай обжигает губы, но я люблю это обжигание. Горячие реки вливаются в меня, текут по горлу, потом спускаются ниже, к грудной клетке, и оттуда уже — по всему телу. Хорошо.

— Буду ли я счастлива?

Тишина.

Савва-Ловгун Евгения Ивановна — поэт, прозаик. Родилась в 1981 году в посёлке Ноглики Сахалинской области в семье рыбаков и охотников. Окончила девять классов и ПТУ по специальности продавец контролёр-кассир. Печаталась в коллективных сборниках, журналах и газетах Дальнего Востока. Автор книг «Умгу-Ла» (2015) и «Песни Эвении» (2016). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Устала, бедняга. Отдохни.

Туман почти рассеялся, и там, за Тымью, а потом за её берегом, и дальше, у самой кромки горизонта, открывается еле видимая глазу полоска суши. Залив. Туман обычно уходит туда, вслед за рекой, встаёт у границы моря и суши и стоит, словно хранитель порталов между мирами.

Где-то там, на заливе, живут в маленьком рыбацком балке мои родственники. Спят ещё, наверное... а может, уже растопили свою буржуйку и пьют сладкий чай из блюбочек, причмокивая язычком по нёбу.

Так меня учила в детстве пить чай бабушка, чтобы я не обжигала губы. Из чайника в кружку, из кружки в блюдец, из блюдца в себя, и качать головой: тц-тц-тц, вкусно!

Но мне всегда не хватало времени на такой нескончаемый ритуал.

Там, на улице, столько всего интересного ждёт, какие тут блюдца! Обожгла губы и нёбо — и на улицу бегом, бегом, спозаранку, пока родители не спохватились и не придумали кучу домашней работы!

— Я красивая? — спрашиваю у шестнадцатилетней тётки.

Тётя моя модница и первая красавица в нашем колхозе. Она густо и ярко накрашена, клипсы на аккуратных ушках её покачиваются и сверкают на солнце. Чёлка начёсана по моде. В глазах пляшут искорки.

Она поглаживает меня по рыжеватым мягким волосам, предмету гордости моей мамы, и, смеясь, отвечает:

— Красивая, красивая и лысая.

Тётя смеётся, а я в слезах бегу к маме. Скандал был невероятно громкий. Мама считала меня самой красивой девочкой в посёлке, да и вообще в мире. А я смотрела на подружку Ларису с шоколадными косами в кулак и плакала.

— Никогда никому не завидуй, — говорила мне мама. — Для меня ты самая красивая, самая любимая. Не хочу, чтобы моя дочка смотрела недобрыми глазами на то, чего у неё нет.

— У тебя такой милый носик! — сказала мне Лариса спустя годы. Лариса — моя лучшая подруга и одноклассница к тому же.

— Носик? — удивилась я.

— Да, он у тебя аккуратный, а вот у меня — лепёшка. Как будто гены, когда меня придумывали, налепили кусок глины на лицо, приплюснули и решили, что и так сойдёт! И волосы у тебя красивые, мягкие...

— Ох уж эти Гены! — отшучиваюсь я.

Смеёмся.

— Странно, я никогда не замечала этой твоей лепёшки! — Разглядываю её лицо почти под микроскопом и не вижу никаких изъянов.

— Эх, если можно было бы слепить себя самому! Нос от тебя, волосы от неё, глаза от куклы Барби, улыбка от Мэрилин Монро.

— Ой, да ну тебя! Нормально всё, не парься! Я лысая, ты волосатая, но с лепёшкой. Живём дальше. Разве это главное?

— А что главное?

Туман рассеялся, допиваю остатки и бекаю. Галимый сироп на дне. Фу! По реке носятся лодки на сумасшедшей скорости.

— Налей! — кладёт Юра руку на плечо Ларисы.

Юра — первая её любовь. Красивый высокий парень с густыми чёрными волосами и узкими миндалевидными глазами. Его — спокойного и доброжелательного — только Лариса могла довести до белого каления.

Я сижу на одной стороне лодки, Лариса на другой, Юра сидит на корме, широко расставив ноги, и держит в руках рычаг мотора. За полчаса до этого друзья вызвались проводить меня до дома, но не по дороге, а по реке. Засиделись мы допоздна, и отказаться от такого заманчивого предложения я не смогла. Откуда мне было знать, что они поругаются по дороге!

— Ну что? Нальёшь? — грозно повторяет просьбу Юра.

— Нет! — гордо отвечает Лариса и воротит от него нос.

— Ну ладно, — хмыкает он и дёргает шнур мотора. Тот чихает и, с места рванув, взрывает воду под лодкой.

Летим над водой на бешеной скорости. Звёзды кружат над головой, луна спешит, пытается обогнать нас, но у неё не получается!

— Ну что? — перекикивая мотор, грохочет Юра.

— Я же сказала, нет!

Юра поворачивает рычаг, и мы падаем на левый бок, потом на правый, затем опять на левый. Лариса смотрит на меня круглыми от ужаса глазами. Я смеюсь, мне весело — брызги в лицо, ветер, уух! Юра серьёзен и набычен.

— Нальёшь?

— Да на! На! — кричит Лариса и дрожащими руками достаёт из рюкзака бутылку водки и стопку.

Лодка выравнивает ход и плавно идёт по реке. Юра выпивает, крикает и, притянув Ларису за волосы, занюхивает ими. Мой дом уже виден, и если приглядеться, можно даже увидеть свет в его окнах.

— Зая? Ещё налей... — ласково зовёт Юра Ларису.

— Да пошёл ты! — кричит в истерике Лариса. — Чтоб ты сдох от своей водки!

— Ах так! Ну держись!

Лодка вновь начинает вихлять вправо-влево, выписывая безумные танцы на воде. Лариса кричит раненым зверем:

— Хватит! Хваатит! Налью! Налью! — и плачет навзрыд.

Юра сбавляет ход, и лодка плавно втыкается носом в берег. Он подходит к своей любимой, поднимает, усаживает себе на колени, целует, просит прощения. Я перекидываю ноги через борт и встаю по колено в воду. Туфельки мои с пряжками-бантиками вонзаются каблучками в цепкий ил, и я, придерживая юбку, чтобы не намочить подол, еле передвигаю ногами, держа курс на сухой берег.

— Эй! Ты куда? — кричат опомнившиеся ребята. — Давай мы тебя до дома проводим!

— Нет, спасибо, сама дойду! — кричу им и, схватив туфли в руки.

Поднимаюсь на дорогу, и по ней, вдоль кустов, бегу босиком к дому. Я уже не вижу лодки, но слышу, как тихо заводится мотор, набирает ход, звук его удаляется и затихает вдали.

— Ой, дураки! — шепчу я.

Ну и ночка! Незабываемая! Увидеть, как танцует моторная лодка и пляшут звёзды — дорогого стоит. Я даже позавидовала немного такому шантажу! Но, пожалуй, со мной Юра потонул бы! Нет-нет, это на грани, не надо мне такого счастья!

Поднимаюсь на свой любимый пятый этаж, самый верхний в доме, на носочках бегу на кухню, сметаю со сковородки рыбные котлеты, наливаю чай в кружку и подхожу к окну. Светает. Посёлок спит, даже собаки не подают голоса. И только кукушка за рекой поёт:

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Спасибо, родная! Буду жить долго, больше ста лет!

Держись, рыба!

Поздней сахалинской весной, когда небольшой нефтяной посёлок Ноглики освобождался из снежных объятий, ходили за червями к старому отделению милиции, что стояло неподалёку от нашего дома.

Рядом с ним — теплотрасса, и черви там появлялись раньше, чем в огородах. Иной раз и лопата не требовалась, просто переворачивали гнилые доски да тёплые камни и собирали урожай. Медитативное занятие. Сидишь, перебираешь тёплую землю, кидаешь червяков в баночку и ни о чём не думаешь. Солнышко спину греет. Хорошо!

Там же, у ментовки, разбирали на стихийной помойке старые аккумуляторы, доставая из них свинцовые пластины. Дома эти пластины плавили в жестяной банке и отливали грузила. Делали это так: ставили в середину ложки деревянную щепочку и заливали свинец. Потом щепку вынимали, вот и дырка для лески. Всё, грузик готов.

Ложки, особенно мельхиоровые, приходилось прятать от гостей-рыбаков. В нашем подъезде находился центр занятости, и по приёмным дням к нам домой забредали безработные, начиная с восьми утра: то покурить, то чай попить, то очередь переждать. Бороться с этими нашествиями было бесполезно, не помогал ни выключенный домофон, ни неработающий дверной звонок. В посёлке все друг друга знают, вот и эти визитёры были нашими друзьями или родственниками — как не пустить? Забегут они, значит, чай попьют, уйдут, и нету на столе ложки, тью-тью! Зато у кого-то новая блесна появится.

Чтобы сделать закидушку, я брала кусок штaketины от соседского забора, делала с обоих концов пропилы и наматывала на неё леску, обычно шестёрку. На леску цепляла пару крючков, и на самый её конец — тяжёлый грузик. Закидушка — самый любимый мой вид удочки. Прячешь её в мешок из-под сахара, туда же банку с червями, и вперёд, на рыбалку.

Мешок из-под сахара или муки — вещь в хозяйстве нужная. Из него можно сделать рюкзак: за углы привязать верёвки, завязать узлом на горловине,

Евгений Степанов

Пусть краток день земной

Прудовая

Отчее Быково, церковь, пруд,
Улица родная Прудовая...
Улицу свою не предавая,
Круглый год быковцы здесь живут.

Это Надя — у неё собаки.
Это Вадя — Бахусом ведем.
Это Марк — что прозябал в бараке,
А потом отгрохал ладный дом.

Это Ольга — о поэтах бойко
Рассуждает, начитавшись книг.
Это у Николеньки попойка.
Это я — построивший парник.

Как бы злые духи не серчали,
Улице не потерять лица.
Это — мы. И мы — односельчане.
И — не хочется пе-ча-лить-ся.

Хочется, чтоб здесь, на Прудовой,
Мы бы жили и не знали горя.
...Только вот далече нынче Боря.
Боря нынче на передовой.

Степанов Евгений Викторович — поэт, прозаик, издатель, кинорежиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского пединститута, Университет христианского образования в Женеве и аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова. Кандидат филологических наук. Президент Союза писателей XXI века. Автор книг стихов, прозы и многих публикаций в СМИ. Живёт в Москве.

Братья

Брательники-штурмовики...
Они сражались на Донбассе.
Иван вернулся без руки.
И больше нет на свете Васи.

Иван молчит, угрюм и сед.
Пьёт. Смотрит на меня сурово.
И я молчу, его сосед.
Ни слова о войне. Ни слова.

Звуки мы

Планета — филиал тюрьмы.
Но плакаться в жилетку глупо.
Не «Звуки Му», но «Звуки мы» —
моя любимейшая группа.

А мы — и соль высоких строк,
и боль, что гложет монотонно,
и несгибаемый цветок,
пробившийся сквозь твердь бетона.

А мы — тепло родных могил,
ларец хрустальный ноосферы,
и барбарис, и девясил,
и камни, ладожские шхеры.

А мы — любимые глаза
и друг, пришедший на подмогу.
Пусть краток день земной, но за-
мечателен, ей-богу.

В лесу

О подвигах, о доблести, о славе...

А. Блок

Стоят в карауле дубравы,
Опята пригрелись на пне...
Ни денег, ни власти, ни славы
Не надобно мне.

Ты скажешь, что я шизофреник.
А я помолчу в тишине.
Ни славы, ни власти, ни денег
Не надобно мне.

Я видел страну Эльдорадо.
Был счастлив, оттуда удрал.
А высшая в мире награда —
Тропинка среди русских дубрав...

Пришёл — ушёл

Н.

Мальчишка — дядька — старикан.
Мгновение. Проступки. Схима.
Мир перевернут, как стакан.
Как жить? Уму непостижимо.

Я жил. Я бил и битым был.
Бухтел. И был слугой режима.
Парил, но чаще был бескрыл.
И жил. Уму непостижимо.

Пришёл — ушёл. Родиться вновь
Не прочь. Стремление не убито.
Лишь бы текла во мне любовь —
Не кровь. А как же без любви-то?!

Я стану тем, кем был давно.
Я не хочу пути иного.
...Пусть отмотается кино
Назад. И — фильм начнётся снова.

Марина Крамская

Несвятые

Рассказ

Мальчик стоял на паперти, уплетая плесневелую горбушку. Отец Дмитрий давно его приметил: затасканная куртка с оторванным нагрудным карманом, неряшливый шрам от заячьей губы под смятым носом, кроссовки с отстающей подошвой. Хлеб, видимо, достался мальчику от голубей, сизая стайка которых, вторя полуденной капели, курлыкала тут же неподалёку. Выражение лица у мальчика было злобное и одновременно торжествующее, словно он совершил идеальное преступление и теперь сгорает от желания похвастаться своей выдумкой.

Воскресная служба закончилась, таяли на кануне зажжённые свечи. Согбенная старушка всучила отцу Дмитрию целлофановый кулёк со словами: «Для Наденьки». Он поблагодарил, пошёл рядом с ней, выслушивая причитания, и лицом к лицу встретил мальчика, жевавшего хлеб.

Едва старушка, облапив напоследок заскорузлыми пальцами руку священника, поплелась через прилегавший к храмовой территории парк, мальчик на паперти спросил:

— Почему колокола не звонят? Раньше ведь били.

Отец Дмитрий припомнил, что мальчик и прежде появлялся по воскресеньям и торчал до конца службы на улице, невзирая на мороз, который теперь уже подзабылся.

— Не можем, — ответил он. — Благовест треснул.

Мальчик доел горбушку, повозил руками по линялым джинсам, запрокинул лицо к небу. Глаза у него оказались такие голубые, что если бы он вдруг заплакал, могло бы показаться, что это тает лёд под ресницами.

— И что? — недовольно спросил мальчик. — Чинить не собираетесь?

— Дорого. А ты послушать приходил?

Крамская Марина Ильинична родилась в Москве. Окончила Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) по специальности «бизнес-информатика». Автор книг «Козырь» (2019), «Новая фантастика» (2020), «Между явью и навью» (2022), «Удивительные истории о ведьмах» (2022). Живёт в Валенсии, Испания.

Мальчик неопределённо мотнул головой. Насупился, подтянув плечи к ушам, чем напомнил отцу Димитрию его собственного сына, хохлатого и длиннее, но уже выпорхнувшего из гнезда птенца.

— А вам люди на исповеди всегда правду говорят? — сменил тему мальчик.

— Доподлинно не знаю, но верю, что правду. Если уж пришёл, зачем лгать?

— И вы никому их тайны не рассказываете? Даже жене?

— Есть тайна исповеди. Я её соблюдаю.

— И ни разу не нарушили? А если человек скажет, что кого-нибудь там убил и прикопал в лесу, тоже ментам не спалите?

Священнику стало не по себе.

— Тайна исповеди нерушима, — повторил он. — Но я, разумеется, постараюсь убедить человека сознаться. Ведь если он пришёл на исповедь, значит, желает раскаяться. И нужно только ему помочь, направить.

Мальчик шумно харкнул под ноги. Грязно-жёлтый плевок попал в щель брусчатки перед храмом, но отец Димитрий промолчал. Мальчик, вздохнув, поскрёб загибок, выбил такт оторванной подошвой о ступеньку и решился:

— Отведите меня к этому вашему колоколу.

Священник ожидал другого. Он не сомневался, что мальчик неспроста спросил об убийстве, и к тому же выглядел соответствующим образом. В нём, конечно, таились бесы, прыгали в ледяных глазах и ничего не боялись. Они совсем распоясались, эти бесы, но мальчик им противился, совершенно точно, ведь явился же и нашёл повод зайти в храм, туда, где бесы в нём взвоят и затопчут в ярости. И потому отец Димитрий кивнул, пригласив его за собой.

Храм был мал, узок, сложен из брёвен, с тёмным тесным притвором. Мерцал в полумраке канун, возле которого крутилась скрюченная задастая баба и медным колпачком гасила огарки. С ласковым укором взирали со стены Святые. Отец Димитрий провёл мальчика за дверь к крутой лестнице, ведущей на колокольню. Мальчик сгорбился, не поднимая от пола глаз, его слегка подёргивало, и ноги цепляли одна другую. Он схватился за перила и упрямо пополз вверх, хотя, должно быть, бесы со всех сил тянули его за душу назад.

Трещина рассклала тёмный, опоясанный старославянскими буквами колокол до самых ушей. Отец Димитрий горестно вздохнул. А мальчик зачем-то покачал язык — колокол откликнулся протяжным нестройным стоном, — и спросил:

— Можете отвернуться?

Священник заметил, что мальчик вспотел. И ещё появился запах — свежглаженного белья. Здесь не могло так пахнуть; металлом, пылью, смолой, мокрой одеждой — да, но не так. Как будто мальчик незаметно переоделся в чистое, однако на нём были всё та же вытертая куртка без кармана и те же расклеившиеся кроссовки.

Однако чутьё подсказало священнику подчиниться. Может, он вообще привык к послушанию и потому стал пастырем. В детстве мать его не строжила, но от любой провинности бледнела, опадала в кресло или на стул, трагически просила воды. Пока маленький Дима ходил за стаканом, триумф непослушания выдыхался, уступал стыду. И когда пришло время выбирать, кем быть, он уже знал, что послушает мать, лишь бы она не бледнела и не просила воды.

Он отвернулся, ни о чём конкретном не думая. Было тихо, в белёсом небе, как под саваном, скользило ещё слабое после минувшей зимы солнце. Прошло минут пять, у священника озябли руки и уши, под ложечкой сосало не то от голода, не то от волнения, он мыслями вернулся к вопросу мальчика и к причине, приведшей его в храм. К отцу Димитрию приходили разные люди, многие — годами, он знал об их семьях, знал слишком много, пропускал через себя. Иногда хотелось со всем покончить, люди становились ему противны, их близость, их откровенность, их простодушие и глупость, из-за которых они и грешили. Он бранил себя, взывал к Богу, прося помощи, и Бог отзывался, приводил к нему ещё больше людей, они мучили ещё сильнее, загоняя в отчаяние, как покорного агнца, и тогда отец Димитрий смирялся, слушал их и слушал, ничего не чувствуя, пока не наступало облегчение, и он снова мог служить.

— Короче, вот, — пробубнил за спиной мальчик. — Готово.

Священник обернулся и не поверил увиденному. Исчезла не только трещина, но и осевшая за годы патина, и колокол выглядел как заново отлитый. Мальчик хлюпнул носом. Волосы у него на висках блестели от пота, потемнел даже воротник куртки, а рука так дрожала, что никак не попадала в карман.

— Чудо... — вырвалось у священника.

— Ага, — шмыгнув, признал мальчик. — Теперь будете звонить?

Отец Димитрий обошёл колокол, боясь прикоснуться, потревожить, признать чудо, хотя верил и в мироточащие иконы, и в исцеляющие мощи.

— Спасибо, — ответил он мальчику. — Теперь будем.

Они спустились по лестнице, мальчик призраком плыл впереди, на миг даже показалось, что он уже не касается заусенчатых ступеней. Больше не пахло свежим бельём, и вообще ничем не пахло — ни свечами, ни деревом, словно мальчик стирал все запахи за собой. «Я что же, должен его отпустить? — спрашивал себя отец Димитрий. — Просто так, ничего не сказав? Но ведь зачем-то же он был мне послан?»

— Как тебя зовут? — спросил священник, когда они вновь вышли на пустую паперть.

— Андрей.

— Часто, Андрей, людям помогаешь?

— Нет, — хмыкнул мальчик. — Люди в основном тупые, и сами во всём виноваты.

Он сказал это со злостью и знанием.

Отец Димитрий возразил:

— Но что же делать оступившемуся? Голову сложить?

— Да плевать мне на них, не моё дело. Я не вам помог, а себе. Нравится мне, как у вас звонят.

— У тебя, выходит, дар.

Андрей съёжился, как будто на него замахнулись. Священник вспомнил горбушку, которую мальчик уплетал, словно ничего лучше не пробовал.

— Я хочу тебя отблагодарить, Андрей. Может, зайдёшь к нам на обед? У нас небогато, но ты, пожалуй, наешься.

— Да не надо мне от вас ничего, успокойтесь.

Он спустился с крыльца, достал из кармана семечки в кулаке, расколол одну грязными жёлтыми зубами.

— Если будет одиноко или захочешь просто поговорить, приходи, — добавил отец Димитрий.

Мальчик ещё постоял, потом обернулся. Выглядел он совсем уж неважно: бледный, глаза запали, блестящая от шелухи нижняя губа лопнула посередине и кровоточила.

— Он всё равно снова треснет, — сказал Андрей. — Не очень скоро. Но треснет.

И побрёл, пнув стаю голубей по дороге.

Отец Димитрий жил в тесной хрущёвке, где под обоями бугрились многие слои старых газет. В крохотной спальне стояла кровать, прикрытая покрывалом с кистями, половину окна загораживало озеркаленное трюмо. На кровати лежала Надя: рыжая рука вдоль тучного тела. Над изголовьем золочёными окладами поблёскивал триптих.

— Наденька, ты представляешь, какое чудо! — воскликнул отец Димитрий с порога, словно не знал, что жена всё равно не ответит.

Хотя язык её слушался и, приходя в сознание, она говорила разное. Порой даже приятное. Говорила и как ни в чём не бывало собиралась на рынок за картошкой, садилась к трюмо и красила губы, причмокивая, чтобы ровнее размазать помаду. Пахла духами и пудрой. Но всё всегда кончалось одинаково: «Мирошку с собой возьму, а то скучно ему одному дома».

После этого наступала тишина. Жена возвращалась в постель, складывала дряблые руки по бокам и больше не шевелилась.

Отец Димитрий не раз думал, что, если бы сын не уехал, всё случилось бы не так быстро. Хотя врач объяснял ему, втолковывал, что бывают необратимые изменения. «Не-о-бра-ти-мы-е, вы понимаете?» Всё было предрешиено. А сын-то что, ему учиться надо, работать, семью создавать. Новую. Из старой он уже вырос. Только вот Надя так срослась с ним, что, когда разрубили их общие корни, он — прижился на новом месте, а она — утасла.

— Ты представляешь, Надя, что я сегодня своими глазами видел...

За четверть часа, что отец Димитрий рассказывал об Андрее, жена моргнула лишь раз. Но потом вдруг повернула голову и посмотрела на мужа ласково.

— Митя! Как давно мы с тобой не виделись!

Через неделю мальчик явился снова, хотя отец Димитрий не чаял его увидеть. Явился: внезапно выскочил из-за куста, когда священник вечером шёл через парк в промокших ботинках, угодив перед этим в незаметную лужу талого снега. Выскочил тенью, заслонив тропу, и решительно приказал:

— Исповедуйте меня!

Отец Димитрий замешкался. Он не знал, крещён ли мальчик и стоит ли вообще начинать этот разговор в сумерках на промозглом ветру. Но ещё меньше он хотел вспугнуть Андрея, чтобы тот ушёл, не выслушав причин отказа.

— К исповеди нужно готовиться, — мягко возразил он мальчику.

Андрей насупился, поковырял бледный прыщ на впалой щеке.

— Какая ещё подготовка? Я думал, я вам просто расскажу, а вы мне грехи отпустите или как это у вас там называется.

— Сперва ты должен простить всех, кто нанёс тебе обиду. А затем уже каяться за обиды, которые нанёс сам.

— Я ещё ничего не сделал, только собираюсь, — возразил мальчик.

Ноги у священника совсем задубели в мокрых ботинках, и он, не торопясь, зашагал по тропе, ведущей к дому, надеясь, что Андрей пойдёт следом. Мальчик ругнулся, но, видно, долго готовился к разговору и не мог так просто сдаться.

Тропа вскоре влилась в широкую прогулочную дорожку, по которой в вечерний час понуро брели, изредка выкрикивая клички, собачники с усталыми лицами, раздражённые и рассеянные, листающие новостные ленты в смартфонах. Снег по краям дороги уже сошёл, обнажив глубокие проталины. Весна текла в них, вымывала себе дорогу, и отец Димитрий подумал, что худые кроссовки мальчика наверняка тоже до краёв нахлебались воды.

— Значит, ты хочешь поступить дурно? — спросил он исподволь.

— Не для всех, — возразил Андрей. — То есть кое-кому будет польза.

— А другим?

— Мне всё равно. Сами виноваты.

— Тогда зачем тебе отпускать грехи? Если всё равно.

— Не знаю, — буркнул мальчик. — Просто... Я в ад не хочу.

— Господь милостив. Не за всякий грех отправляет в преисподнюю. Так что же у тебя случилось?

Они шли медленно, рабочий день отца Димитрия давно кончился. Ныли колени, и поясницу тоже тянуло, но больше тянуло и ныло сердце оттого, что мальчик был несчастен и, главное, — одинок, — как Дима в его возрасте. Семинария вспоминалась ему холодом, голодом и одним-единственным желанием — чтобы всё, наконец, закончилось. Если бы не Надя...

— Да кореш у меня с войны вернулся, — неохотно, словно сомневаясь, ответил Андрей. — В одном дворе с ним выросли, только он постарше. Нормальный он. Не давал до меня докапываться, на стройке пахал. А сейчас пьёт сильно.

— И в чём же твой грешный помысел? — не понял отец Димитрий.

Мальчик выразительно вздохнул, мол, ну что за тупость. Видно было, что он уже сто раз пожалел — и что пришёл, и что колокол починил, и как ему досадно, что надо говорить с попом, а поп немолод и туп и потому ни хрена в жизни не понимает.

— Реально не догоняете? — обречённо спросил мальчик, но осёкся.

Сбоку через проталину на дорогу выпрыгнула здоровая псина, дворняга, происходившая, очевидно, от овчарки, и подняла оглушительный лай, глядя на Андрея. Тот обмер, побелел, и казалось, что его вот-вот вывернет от страха. Отец Димитрий собак не любил и побаивался, мать заботливо внушала ему, что от животных следует держаться в стороне, потому что от бешенства люди умирают мучительно. Надя же долго просила завести щенка, раз уж ребёнок у них

не получался, но как только Дима поддался на уговоры и уже ехал в вонючей «шестёрке» к сомнительному заводчику на квартиру, Надя позвонила и сообщила, что у них будет мальчик. Как она могла знать, что именно мальчик? Но не ошиблась...

Дворняга оскалилась, почуяв страх. Отец Дмитрий встал между ней и мальчиком, примирительно показав псине открытые ладони со словами:

— Ну что ты, милая...

Коротким рывком собака бросилась вперёд, отец Дмитрий не успел ничего понять, только полыхнула боль в руке и по ладони побежала светлая быстрая кровь. Откуда ни возьмись появился хмурый мужик в затасканном пуховике и, схватив собаку за ошейник, от души огрел её поводком по спине. Собака жалобно закулила, а мужик, ни слова не сказав, потащил её по дороге, не обернувшись, даже не взглянув на священника и замершего позади него мальчика.

Кровь уже должна была остановиться, но продолжала течь из глубоких, как от дроби, скважин в коже. Андрей отмер, схватил отца Дмитрия за покалеченную руку и забормотал:

— Дебилы, а вы их защищаете, этот вот, он же к вам в храм ходит, я его рожу помню, что теперь скажете, простите, небось, да?

Неожиданно знакомо пахнуло чистым глаженным бельём. Лоб у мальчика покрылся испариной, несмотря на пробирающий холод, губы стали совсем неразличимы. Отцу Дмитрию обожгло руку до локтя, голова закружилась, где-то запели хоры, радостно и светло, как на Пасху. Медленно, очень медленно затягивались на ладони раны, выталкивая последние капли крови.

Закончив, мальчик отскочил, спрятав руки за спину, словно оружие. Священник с изумлением смотрел на девственную кожу в рыжих разводах. Собачий укус исчез так же, как трещина на колоколе.

«Чудотворец, — убедился отец Дмитрий. — Настоящий чудотворец».

Андрей попятился. Испуганные глаза уставились на священника в немом восклицании.

— Пстой! Куда ты?

Но мальчик уже отвернулся и побежал.

Отец Дмитрий вернулся в храм и встал у иконы Богоматери. «Что я видел? — спросил он молча. — Исцеление? А мальчик, — кто он? Святой?..»

Сколько ни вслушивался, сколько ни вглядывался, но ответа не было. Только рука словно онемела, и казалось, вот-вот — и вовсе исчезнет.

В квартире отец Дмитрий сел в коридоре на старую тумбу для обуви и долго не мог встать. Чудо оказалось невозможным, невыносимым грузом. Теперь он смог признаться себе, что ждал чуда всю жизнь и особенно — последние шесть лет. Откуда-то в нём выросла и окрепла уверенность, что чудо неизбежно произойдёт именно с ним. Наверное, он ждал если не благодарности, то хотя бы справедливости: служение давалось ему с трудом, и дома он давно

Илья Прозоров

Клён, который мы посадили

Рассказ

Мы стоим у могилы Блока и курим.

Он держит толстую богатырскую папиросу в левой руке, я — хромую тощую самокрутку.

Ясный день октября.

Прозрачный. Тихий. Спокойный. Холодноватый.

Как окно в бабушкин сад. Как первый сон после болезни. Как чье-то доброе воспоминание, в котором мы оказались случайно.

День, наполненный глубоким смыслом.

Нас словно нет, но мы выдуманы кем-то, зачем-то, для чего-то.

Плавнo отводя от лица руку с папиросой, мой друг смотрит вверх, на голые ветки клёна, откуда с грохотом падает стая ворон.

Слетев, они рассыпаются по кладбищу кто куда, чтобы потом снова собраться и ревниво гаркать: «Прочь отсюда, прочь отсюда, прочь отсюда!..»

Кучкуясь, будто маленькие голодные котята, дрожат и зябнут под ногами лужицы — следы недавних затяжных дождей.

Дымки наши паровозно уносятся в небо.

— Пусть это будут фабричные трубы, которые видел когда-то поэт, — говорит друг.

Мы не виделись пять лет.

Это целая жизнь крысы или голубя.

Это четверть срока отсутствовавшего Одиссея.

Друг приехал в Петербург с гастрольями. Его пьесы гремят на всю Россию. Он специализируется на гениальных поэтах с дурной славой и короткой жизнью. Переплавляет их судьбы в сказки, переписывает всем известный

Илья Прозоров — русский эстонский писатель. Окончил Таллинский университет (факультет славистики). Автор трёх книг. Публиковался во всех эстонских литературных журналах и газетах, а также в «Звезде», «Новом журнале», «Неве». Проза переведена на английский, польский и эстонский языки. Лауреат премии Марка Алданова (2019). Родился, живёт и работает в Таллине.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 10.

трагический финал, если ему жаль поэта (нет таких поэтов, которых бы он не жалел). Затеplit друг лампадку, чиркнув от себя две-три строчки против истории, поставит лампадку в конце пути, и, глядишь, появляется у поэта надежда.

Сколько скандалов было у него из-за этих его лампадок!

Но скольких поэтов он спас, продлив, пусть и на подмостках, им жизни.

«А разве у настоящего поэта может быть долгая жизнь и добрая слава?» — резонно спрашивает могила Блока...

Я готовил другу подарок.

Он не знал, что здесь — в могилах, в склепах, под шербатыми плитами в лиловых каплях птичьего помета — почти все наши.

Почти все, кроме основ наших основ.

Основы были богаты, имели свои имения, там же и похоронены. Из имений сделали музеи, к ним водят экскурсии, их дома арендуют для пошлых свадеб, а имена — уже не выскоблить из скучных учебников.

А здесь — бездомные сироты, рассеянные когда-то по России, по миру. Они безнадежно кочевали по странам, городам, адресам. Пересекали моря и океаны третьим классом. Меняли квартиры, работы, друзей, жён, любовниц.

Тщательно заматали следы, маскировались, как бабочки.

Они учились жить меж эпох, в расщелинах истории, на осколках прошлого, — без будущего.

Знали, вероятно, чем обернётся для них падение России.

Другу заказали пьесу о грудной клетке больной старухи, по которой проехали танки. Заказал модный — с орденами, со звёздами — академический театр. Надо было напиться соответствующей атмосферой, прежде чем сесть за пьесу.

После гастролей в Петербурге у друга оставалось два свободных дня.

«Нам надо заехать кое-куда», — серьёзно сказал он.

И мы, зевая похмельными утренними слезами, дёрнули со всеми остановками в Комарово, прихватив бутылку вина.

На вокзале, у паровоза Ильича в аквариуме, хлопнули из горла, отметили встречу.

Крякнули по-стариковски, поморщились: вино ядрёным оказалось и пахло микстурой.

Закусили бледной, похожей на отрубленный палец сосиской, завернутой в полусырое тесто.

И нам было хорошо, тепло ехать в пустой электричке.

Я тыкал пальцем в немытое окно: «Здесь Дорога жизни проходила, видишь?! А вон, видишь, — красная тюрьма?! Там Хармса, суки, до смерти замучили. А здесь я первый раз с дочерью гулял... Она вот такая была, крохотная. Личико такое кругленькое у неё было. Там, там, видишь?!»

В окне на фоне проплывающего города отражались наши задумчивые полупьяные лица.

Меня фокус, я смотрел то на убегающие рельсы, то на отражение друга.

У него квадратное скуластое лицо. Тяжёлые железные плечи. Влажные от пота виски, потому что много думает и сердце работает на всю мощь, как электрогенератор.

Сердце размером со спасательный круг. Сибирское, необъятное. Вмещит всех лишних, жалких, напрасных, бесприютных.

И глаза чистые, просторные, серо-голубые. В них я не раз находил покой и скрывался от бурь.

Проезжая Озерки, я в первый раз, как мне показалось, уколол друга Блоком: «Видишь, платформа, вокзал! Тут гулял Блок и встретил свою незнакомку...»

Друг только промычал в ответ, провожая глазами платформу, и мы катили дальше, выгоняя из себя город с его мостами, эстакадами, с бесконечными вереницами гаражей.

Комарово пах грибами и финской тоской.

Хрустели, вылетая из-под ног, красные, жёлтые, серые листья.

Осень тихо падала нам на плечи, на непокрытые сорокалетние головы, и мы, не проронив ни слова, шли между заколоченных на зиму дач.

И не было никакой связи, телефоны молчали, показывая одно лишь время, которое предательски укорачивало наши жизни.

Долго искали зелёную дачу со стеклянной верандой.

Утомлённые поисками, нашли что-то схожее по приметам.

(Не уверен, была ли это та самая дача, просто надо было уже что-то найти!)

Постояли. Повздыхали. Поплакали. Стемнело. Уехали обратно в город.

Из Комарово мы увозили тоску и недопитую бутылку вина. Она булькала и клекотала в кожаной сумке, висевшей на могучем широком плече моего друга.

В тот же вечер, когда мы укладывались спать, я услышал в темноте его мягкий хрипловатый голос: «Отвези меня к Блоку!..»

* * *

Могила Блока сдержанна, красива и грустна, как сам поэт на знаменитых портретах. Прохладный тёмно-серый обелиск с выпуклым профилем, где Блок одуванчиком, сужаясь, растёт к небу.

Имя, отчество, фамилия, годы жизни.

Вот, пожалуй, и всё.

Что-то явно нерусское, а может, немецкое в этой сдержанности. Нетрудно проследить трагедию: просился за границу — умер, окованный болезнью, в Петербурге.

«Могила как могила», — буркнет обыватель и даже не взглянет на Блока.

Обыватель перекормлен гранитной памятью: в России любят смерть...

Но клён, какой клён растёт у могилы!

Точно сам Блок посадил его перед собственной кончиной, подозревая, что через двадцать три года после смерти перенесут его прах сюда, на тогдашний отшиб Петербурга, в сад мёртвых поэтов.

Пришёл, распорядился, указав могильщикам, где выкопать яму.

Дал могильщикам на водку.

Оставшись один, достал из-под пальто худенький, длиною в локоть, саженец с двумя остренькими нежно-зелёными листочками.

Прошептал молитву с обрезанными крыльями.

Вложил саженец в землю.

Полил тихими слезами.

И тихо, незаметно, как бездомный пёс, ушёл умирать на другой конец Петербурга.

Первый раз я побывал здесь с семьёй летом, в середине августа, и сразу понял: клён посадил Блок. Уже откровенно пахло осенью, раскачивались, осыпаясь густым серебром, тополя. Но клён стоял, зелёный, не полыхнув ни единым листочком.

Тогда только-только родилась моя кругленькая, моя сдобная, моя умненькая дочь. Мы катали её в коляске по обжаренному солнцем Петербургу, а она всю дорогу спала, давая нам с её матерью хоть немного вздохнуть.

Мы часто и много ругались. Полушёпотом, чтобы не разбудить дочь. Иногда, забыв про неё, лаялись, матерились последними словами.

И только слабые, чуть слышимые вздохи за тонкой перегородкой коляски отрезвляли нас ненадолго.

Мы замолкали, как нагретые чайники, но через несколько минут всё повторялось.

Ползли, сбиваясь в кучу, когда мы шли на кладбище, тяжёлые клокастые тучи. Награпывал, забираясь под воротник, мелкий противный дождик. Где-то гроыхало, за блестящими крышами, и отчаянно и сипло лаял увязавшийся за нами облезлый кладбищенский пёс.

И тогда я увидел, как не хочет она идти со мной, нарочно замедляя шаг, твердя всё о каких-то мозолях на пятках, о потраченных зря силах.

Как неинтересно ей будет смотреть на могилы, где придётся думать много о белых костях в земле, о неизбежности смерти, подолгу молчать (она не умела молчать), где слёзы и боль разъедают всё будничное, сиюминутное, где правда натывается на правду, где падают колокола, режут иконы, горят багровые закаты, умирают поэты...

А хочется ей, как обыкновенной влюблённой женщине, фотографировать завтраки, обеды, ужины, делиться этим с подругами, легко и много говорить о пустяках, о платьях, о планах, об убегающем лете, — о себе, в конце концов, говорить.

Но она шла, затаясь, оглядываясь ядовито, с ненавистью, по сторонам, будто я придумал и сотворил мир, в котором она живёт.

Полыхнуло внезапно — молнией! — и миллионы тонн небесной воды рухнули на нас, едва мы вошли на кладбище.

Дочь проснулась, заплакала, я снял куртку, укрыв ею коляску.

Дико и неистово гремел на волю выпущенный дождь.

Потекла между могилами, пенясь и закручиваясь, грязная жёлто-серая вода, напоминая убегающий кофе.

Мы спрятались под клён и не заметили Блока.

«Зачем ты тащил нас сюда через весь город?..»

Перекрикивая дождь, она плакала, что больше не хочет жить между небом и землёй, в неопределённости, по съёмным квартирам, в позорном нашем безденежье.

Схватившись руками за обелиск — в истерике она всегда за что-нибудь хваталась, боясь потерять равновесие, — обняв его, как родного человека, она повалилась на землю вместе с именем поэта.

И тогда только я прочитал: Александр Александрович Блок.

Я не трогал её, зная, что нельзя трогать, что шквал скоро пройдёт, утихнет.

Грязная, промокшая — белая футболка превратилась в серую: я увидел её мягкий, ещё не окрепший после родов живот, тугие соски, худые плечи, — стояла она на коленях.

Напротив кладбища, через дорогу, за деревьями, как огромный паук, сверкала окнами пятиэтажка. Чья-то голова, завёрнутая в платок, смотрела на нас с верхнего, распахнутого настежь окна.

Что она думала, какие вопросы?..

Почему женщина, в дождь, у могилы Блока, стоит на коленях?

Может, это сектанты?

Зачем рядом мужчина с коляской?

Или женщина так болезненно любит русскую поэзию, что не стоит на ногах? Где ещё, в какой стране так любят поэзию, чтобы стоять перед ней на коленях?

А что если это призраки? Живые по кладбищам в такую погоду не ходят! У живых других дел полно...

Я чувствовал, как летят в меня эти ненужные вопросы, но некуда было от них деться, — всюду вода.

Через полчаса дождь прекратился, но ещё капало с веток, и под ногами бежал кофе.

Я приподнял куртку.

Дочь, кругленькая, сдобная, тихо спала, повернув голову вбок, распластав ручки, словно кому-то, у себя там во сне, сдавалась.

«Нет, я больше ничего не могу сделать, — говорила она, — я всё перепробовала, чтобы спасти их, я даже родилась для этого, но теперь я сдаюсь».

Богу, наверное, говорила.

Умоляла его: «Прости, Боженька, моих родителей, они совсем глупые, совсем дети, ничего не понимают, я сдаюсь...»

Я глядел беспомощно на дочь и не понимал, как жить дальше.

* * *

— Знаешь, ведь я, стыдно сказать, ни одного стихотворения Блока наизусть не помню, — признаётся друг.

«В России необязательно помнить стихи поэта. Достаточно знать его имя, помнить хотя бы строчку, слово, букву, запятую. Этого хватит, чтобы сказать: я знаю русскую поэзию», — замечает могила Блока.

— Как-то он мимо меня прошёл, — говорит друг. — А ведь гений, и судьба его такая, ну, — русская судьба!

Пока он размышляет, я закручиваю в папиросную бумагу... опавшие листья.

Улыбаюсь, потому что друг редко говорит, да ещё так откровенно: молчун он, весь в себе, как омут.

Отдаю ему самокрутку. Высекаю спичкой оранжевый огонь. Друг глубоко, с треском, затягивается, пуская в недра лёгких горьковатый осенний дым.

— Александр Александрович Блок, — задумчиво, отбивая каждую букву, читает друг имя поэта.

...Чёрные коптящие фабричные трубы.

Прибитый серым тяжёлым небом Петербург.

Город без людей, без машин, без какой-нибудь жизни.

Мигают рыжие зрачки светофоров на пустых перекрёстках.

Из-за туч проглядывает полная луна; висит ярким плафоном, раздражая небо.

Безвременье.

Втроём мы идём по набережной вдоль чёрного канала, навстречу финскому ветру.

Александр Александрович на два шага впереди, друг посередине, я — поодаль: отстаю, чтобы, вероятно, запомнить, — такая мне здесь роль отведена.

Смотрю внимательно на поэта.

Блок лыс, крючковат, нет прежнего одуванчика.

Но ростом всё равно выше нас, и чувствуются порода, воспитание.

Руки держит спереди, как монах, уложив на длинное, до полов, пальто, прикрыв голую худую грудь.

Под ногтями грязь полумесяцем.

Ног не видно. Только слабые постукивания под пальто. Блок, вероятно, на каблучках, в ботах своих любимых, гимназических, подаренных когда-то отчимом.

Лицо вытянуто, землисто, с базедовыми глазами, с угольным носом.

И весь он — словно вылепленный из сырой болотистой земли, и вылез как будто из земли.

Похож на умалишённого погорельца.

На поэта никак не похож.

Бубнит себе под нос: «Не бойся, Шура, умирать не страшно. В России любят смерть. В России надо умирать».

«Позвольте затеплить лампадку, Александр Александрович!» — говорит мой друг, едва за ним поспевая, но Блок не отвечает и только смотрит на него страшно и выпукло.

Ускоряя шаг, мы наскоком преодолеваем полквартала и оказываемся на ровной твёрдой земле.

Вдалеке я вижу город. Дымки фабричных труб уносятся в белое небо. Белое поле, но не от снега, — скорее от света, и белый-белый Блок, светится в парадном костюме, держит в руке что-то похожее на веточку с двумя острыми листочками. Так эти листочки очаровательно-зелены, живы на фоне белого света, но в то же

время так тоскливы, что хочется плакать, и мы с другом, переглянувшись, плачем.

Блок встаёт на колени: «Помогите мне! Я щедро отблагодарю...»

Мы присаживаемся рядом. Блок просит выкопать небольшую ямку. Земля — мёрзлая, чугунная — долго не поддаётся.

Ломаем ногти, стираем пальцы, — тщетно всё.

Выручает Блок. Что-то шепчет, пригнувшись к земле.

Вдруг вихрем влетает, поднимается, кружит, разгоняя белизну поля, горячий южный ветер. Земля тает, испаряется на наших глазах мгновенно. Появляются тут и там маленькие блестящие лужицы, кричат разбуженные птицы, звенят вдалеке колокола!

«Скорее копайте!» — кричит Блок.

И когда выкопана приличная ямка, укладывает туда слабую ветку клёна с двумя зелёными листочками, бережно присыпает землёй.

«В России поэты не живут долго, — грустно говорит Блок, глядя на клён. — А вот ему жить и жить. Всех нас переживёт».

И мы вдруг понимаем, как он прав, и глупо его переубеждать, что поэты в России не живут долго, а клён переживёт не одно поколение и увидит, возможно, конец света.

Прильнув лицом к листочкам, Блок плачет вместе с нами. Слезы, падая на клён, переходят в дождь.

На руках поэта проявляются, как фотоплёнка, сливово-чёрные кровоподтёки. Нет прежнего белого Блока. Свет пропал. Он снова из земли.

«Это я сам себя бил, — говорит поэт, поймав мой взгляд, — выгонял из себя пустоту».

Друг, вытирая слёзы со скуластого лица, умоляет: «Давайте, в Финляндию вас, Александр Александрович! Вам там помогут, вас спасут. Все границы откроем, милый Александр Александрович. Вам нельзя, слышите, нельзя умирать!»

«Не хочу, — говорит Блок, — Финляндии. Хочу сюда, в эту землю. Полежу чуть-чуть в болоте, там, на Смоленском, среди берёз, а потом сюда, к своим, к нашим».

«Тогда, может, во Флоренцию, там тепло, или в Шахматово, там память?»

Блок на секунду застывает, печально глядя перед собой, потом одумывается и с детской злобой почти произносит: «Нет, оставьте, я устал, я сдаюсь, не могу больше. Помогите лучше встать!»

Взяв его под руки, рассыпающегося на глазах от дождя, поднимаем.

Блок слаб, немощен, но лицом как будто свежее, и появляется подростковая хмурость, почти дерзость во взгляде.

«Я обещал заплатить, — лукаво улыбается он. — Видите, как капает вода в лужицу, как лужица дрожит, озябшая, как ей грустно и одиноко? Это — поэзия, друзья, это всё придумал поэт! Я дарю всё это вам, вам, одним только вам! Нет ничего важнее этой лужицы. В ней всему человечеству спасение. Несчастная лужица спасёт мир, слышите? Прощайте теперь, друзья, прощайте...»

Поэт исчезает.

Из кустов выныривает кладбищенский пёс, сворачивается у наших ног, грустно положив морду на передние лапы.

— Здорово, дружище, помню тебя. Ты жив ещё?..

И пёс, словно полегчало ему отчего-то, глубоко и томно вздыхает.

Медленно катится уставшее осеннее солнце.

Дымки наши по-прежнему уносятся в небо.

— Я буду писать о Блоке, — спокойно и уверенно говорит друг, доставая из кожаной сумки бутылку вина, чтобы выпить, утирая слёзы со скуластого лица.

* * *

Шёл я однажды по улице после дождя. Была весна. Тепло. Почему-то пахло помидорами. Точно такой, помню, запах был в парнике у бабушки, когда я заходил туда ребёнком, чтобы тайком сорвать ещё зелёный плод: им хорошо было швырять по кабинам проезжающих товарных поездов.

Я шёл и глядел в небо, потому что вычитал у какого-то философа, что смотреть надо в небо, и тогда жизнь не будет казаться безделкой.

Навстречу мне шли бессовестно красивые, почти раздетые догола, девицы.

Но я придерживался философии и продолжал никого и ничего не видеть, кроме неба.

Я шёл и шёл, пока случайно не увидел за крышами домов оранжевую стрелу подъёмного крана.

Она походила на голову жирафа.

Я перевёл взгляд и попал глазами в лобовое стекло автомобиля.

К стеклу прилипли опавшие берёзовые листья: сочные, зелёные, с зазубринами.

Они походили на моллюсков.

Во дворе дома меня встретила разноцветная, как набор детских карандашей, скамейка.

Строители ремонтировали подъезд. На асфальте лежал, подошвой кверху, рубанок. Ротик его со стальным лезвием похож был на осетровый. (Осётр лежал в витрине рыбного магазина напротив, через дорогу, и стоил каких-то запредельных денег.)

У подъезда я чуть не угодил в лужу.

Приглядевшись, увидел, как капает в неё вода, как лужа дрожит, озябшая, как ей грустно и одиноко отражать голубое небо.

Высокая поэзия мерещилась мне в каждой детали обыкновенного утра.

Поэзия преследовала меня везде.

Ошеломлённый, забыв всё, я побежал писать свой рассказ...

Микаел Абаджяни

Человек за спиной, или Попытка автопортрета

Рассказ

Елене Галустовой

* * *

Вчера мой портрет писала художница Милана Краснова. Отчего-то художники часто выбирают пожилых людей. Не скажу, что я старик, однако разменял уже шестой десяток. Видимо, прожитая жизнь выразительно проступила на моём лице и пришло время позировать живописцу. Краснова пригласила к себе в мастерскую в три часа пополудни. Из большого окна лился зеленоватый летний свет, а к белым стенам были прислонены холсты с пейзажами. На них жили своей жизнью подмосковные пруды и леса. Отмечу, свет был передан очень достоверно.

Тюбики с краской лежали прямо на полу, а на мольберте — девственное полотно оргалита. Я, не особо размышляя, сел на приготовленный загодя стул. Без умолку что-то болтая, наблюдал, как Краснова встала за мольберт. Она смешивала краски: красные, синие, жёлтые, зелёные. Мне почему-то подумалось, что я должен занимать её разговорами. Я рассказывал о своей жизни, вытаскивая на свет истории, случившиеся со мной ещё в молодости. Я их и сам плохо помнил, однако всё это сейчас казалось к месту. Спросил, не слишком ли верчусь, но получил отрицательный ответ, — мол, всё нормально. Справа на стене висело большое зеркало, и в нём отражался мольберт.

Полотно оргалита, вернее, его отражение, было расположено под острым углом ко мне, и с моего места казалось, что выходит похоже. Это обстоятельство заставляло меня всё больше растягивать губы. А ещё мне думалось, что чем больше я стану улыбаться, тем конечный результат окажется лучше — примерно как на фото.

Абаджяни Микаел Фёдорович — прозаик и переводчик. Родился в Ереване в 1970 году. Окончил Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт. Печатался в журналах «Новый мир» и «Дружба народов». Член Союза писателей Армении. Консультант проекта «Моссалит». Издавался в России и других странах. Имеет литературные награды.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 6.

Сидел я так уже довольно долго, когда услышал, что она знакома с моими рассказами. Но мистические истории ей не очень нравятся, понял я. Несколько более высокого мнения она была о моей реалистической прозе. Спорить не стал. Было дело поважнее — краем глаза подсматривать в зеркало, как проступает на белом фоне моё лицо.

Прежде чем показать, что вышло из-под кисти Красновой, я должен описать себя сам. Как себя вижу и ощущаю.

Когда-то я был красив и талантлив. Жил в Ереване, писал мистические рассказы и работал в толстом художественном журнале. Союз писателей там был самый настоящий — со своим зданием, пансионатами и книжным магазином, — ведь он был когда-то частью СП СССР. Время было счастливое, дышалось и писалось легко, и мне казалось, что ещё немного, и все премии мира обрушатся нескончаемым потоком на мою одарённую голову.

Только счастье моё омрачали выяснения отношений с поэтом Ромиком Сардаряном, выпивохой и забиякой. Он был старше лет на двадцать, не терпел моего самолюбования, а когда бывал пьян, — устраивал ссоры и лез драться. Между тем поэтом он был хорошим и пользовался успехом. Позже Ромик посвятит мне несколько четверостиший и парочку критических статей. Но это всё потом. А сейчас, вдребезги пьяный, Ромик стоял напротив в боксёрской стойке посреди нашей редакции и сыпал оскорблениями в мой адрес. Он на голову ниже, хлипкого телосложения, а глаза — с восточною косиной, и наши острословы утверждали, будто он потомок Вардана Мамиконяна. Его реденькая борода азартно подёргивалась, а берет, без которого его вообще невозможно представить, был лихо заломлен. И вот этот самый Ромик наступал на меня, сжав кулаки.

Людей было в комнате предостаточно, одни жались к стенам, другие подзадоривали нас. До сих пор не понимаю, почему его никто не унял. Я ударил первым, и Ромик оказался под письменным столом. Вылезал он оттуда долго, ему помогли подняться, однако пыл его не угас. Это уже потом я узнал, что он был боксёром-разрядником и у себя в доме без конца молотил грушу на открытой террасе. Можно было мне и самому догадаться, видя выбитые суставы его правой кисти. Но я-то себе вообразил, что это просто узловатые стариковские руки. На ногах Ромик держался плохо: от выпитого его шатало. А может, он просто переигрывал, теперь уже сложно сказать. Но он опять стал наступать под одобрителный гул. Что и говорить, Ромик снова оказался на паркетном полу.

И тут мне стало стыдно, что я избиваю старика. А вдруг от меня теперь все отвернутся и перестанут уважать? Ведь Ромик — всего лишь старый пьяница, хотя и отличный поэт. И я решил подставиться. Чтобы ему не было так обидно, да и мне не совестно.

Он, видимо, прочитал мои мысли. Его глаза ещё больше сузились, и Ромик, выбрав момент, ловко подскочил на своих тощих ногах и впечатал в мою челюсть слева свой костистый кулак. И тут я почувствовал, как рушится мироздание. Посыпались мечты о литературных вершинах, которые я так и не покорил. Пошатнулась уверенность в том, что я лучший литератор всех времён

и народов. На ногах я удержался, однако почувствовал, как зубы хрустнули — мои молодые зубы. И я выплюнул на пол огромный кусок правого маляра.

Закончилась наша драка обычными в редакции возлияниями. Мы с Ромиком пили на брудершафт и даже обнимались. Дальнейшие отношения у нас сложились самые дружеские — драку эту мы никогда не вспоминали. Однако зуба у меня не стало. Пришлось удалять оставшиеся корни. Большой толстый стоматолог утешил, что мне есть ещё чем жевать хлеб. Одним словом, потеря была не смертельная.

Прошло с того времени лет двадцать. Уже и Ромика нет давно среди нас, однако эта история мне всё ещё аукается. И не только потому, что жевать без зуба трудно, но и потому, что с лицом моим стали происходить странные вещи.

Оттого что не стало крупного зуба, челюсть поехала влево, приобретая форму бумеранга, нарушилась симметрия нижней части лица. Зубы же верхней челюсти постепенно сточились с внутренней стороны, а с внешней обрели форму пилы. Иногда мне казалось, что они торчат из-под верхней губы, как у старого кота. Я даже жевать стал крайне осторожно, чтобы не рассечь язык и щёки. Я думал, что всё это незаметно под довольно толстым слоем мышц и кожи. Но я ошибался. По крайней мере, Милана эти детали уловила, и на холсте проступил мой истинный увечный облик.

От вида такого своего лица меня охватила лёгкая оторопь. Это был, конечно же, я, но не такой, каким привык себя видеть в зеркале.

Нравилась ли мне Милана как женщина? Да, безусловно. И, может быть, даже я попытался бы при определённых обстоятельствах за ней приударить, если бы не одна деталь. В уголке её губ замечен был красноватый шрам. Я долго мучил себя мыслью, смог бы я пересилить себя и поцеловать её в губы?

Ну так вот, в придачу к моим собственным уродствам в левом уголке моих губ красовался кровавый рубец. Милана заметила моё недоумение, но ничего не стала объяснять и поскорее выпроводила из мастерской, сказав, чтобы я приходил через несколько дней, когда портрет подсохнет.

Теперь тот портрет украшает одну из стен моей холостяцкой квартиры в Подлипках.

Идёт время, но я так и не свыкнусь с ним. Я никогда не смогу воспринимать его как собственное изображение. Однако всегда буду чувствовать, что Милана увидела нечто большее, чем просто отражение в зеркале. И чем дальше будет уходить время, тем меньше я стану на него походить. Да и гости мои будут воспринимать его как шутку и перестанут вздрагивать, переводя взгляд с портрета на моё лицо.

* * *

Кажется, я опять задремал, и в полумраке комнаты, на противоположной стене, странно гримасничало лицо в раме, отдалённо похожее на моё. Оно подмигивало и двигало челюстью, стараясь не то что-то прожевать, не то сказать.

А ещё мне привиделся отец. Он был обмотан крест-накрест пулемётными лентами. Смотрел на меня весело, а потом вдруг сказал: «Пошли на войну!» — но я сделал вид, что не слышу.

Я даже не приподнялся. Меня вообще здесь не было. Меня десять лет уже нет. Тогда он беспечно рассмеялся и стал подниматься на каменистый лысый холм. Поднимался легко, а я подумал, что мне передвигаться так быстро уже не под силу. Некоторое время я смотрел ему в спину, на ней белел крест. Он обернулся, но это был уже не отец, а Ромик Сардарян в лихо заломленном берете. Затем всё померкло от набирающего силу солнца и тяжело исчезло.

Я с трудом встал с постели и поплёлся на кухню. Свет не включил — было и так светло от фонаря во дворе, прямо из-под крана глотнул тёплой с привкусом резины и ржавчины воды, нашарил на кухонном столе сигареты, закурил, выпустил дым в открытую форточку. Посмотрел в треснутое мутное стекло. Там, внизу, в свете фонаря у клумбы с распустившимся яростным белым цветом чубушником неподвижно стоял человек в зелёном плаще и смотрел на мои окна. Некоторое время я наблюдал за ним, удивляясь, что кому-то тоже не спится. Посидел немного на скрипучем табурете, размышляя о войне. Если по совести, мне надо быть там, где рвутся под танками мины. И всё-таки, что я могу сделать? Ведь есть же обученная профессиональная армия. А я даже автомат толком разобрать-собрать не умею. А зрение. Можно, конечно, сменить очки на контактные линзы. А кредит. Кто заплатит банку проценты? Если не платить, то исчезнет всё, — и дом тоже. Казалось невыносимым бросить эту жизнь, взять билет и улететь на войну, никому ничего не сказав, отказавшись от текущих страстей, выбрав из всех возможных единственную цель — защиту родного дома. Но на войну всегда можно успеть — она только началась. Если вдруг стану нужен, то позовут, достанут и здесь. Вот будет мобилизация, тогда и поеду.

* * *

Я библиотекарь. А кем работать писателю, если не хранителем книг, памяти о знаменитых литераторах? Каждый божий день сажусь на электричку на своей станции в Подлипках и схожу в центр Москвы.

Библиотека — место поистине таинственное. Между стеллажами с книгами можно наткнуться на живых писателей. Пару раз в тесных книжных рядах сталкивался с Александром Сергеевичем. Я, помнится, поинтересовался у него, что он делает у нас, ведь ему самое место в Пушкинской библиотеке. Александр Сергеевич ничего не ответил, только посмотрел весело и озорно подмигнул. Я себе дал слово, если снова встречу между стеллажей Пушкина, то попрошу его подписать книгу. Будет интересно посмотреть, как вместо гусиного пера он использует гелевую ручку.

Здесь часто устраиваются встречи с писателями. Бывают концерты бардовской песни. Звучат стихи и прекрасная музыка. Древний чёрный рояль с канделябрами редко остаётся без дела. Есть и мемориальная комната, где живёт память о воронежском писателе-самородке. Да, чаще всего можно встретить в закоулках библиотеки именно его. Однажды я увидел его ищущим какую-то книгу

Александр Горохов

Ирочка

Рассказ

1

Ирочка давно хотела перерезать горло мужу. Но не было удобного случая. То отношения налаживались, то дочка хворала, то не было денег на еду, а то, наоборот, приносил хорошую зарплату. Хотя перерезать ему горло или задушить ночью подушкой Ирочка твёрдо решила.

Потому что муж был сволочью. По ночам он опрыскивал её, Ирочку, дочку и даже кота какой-то гадостью, и когда они, одурманенные, засыпали, приводил в дом любовницу и сношался с ней до утра.

Она просила мужа не трогать хотя бы ребёнка. Не отравлять его этими опрыскиваниями, но муж орал, говорил, что у неё крыша поехала, крутил пальцем у виска. А один раз, когда она, заботясь о здоровье ребёнка, пыталась поколотить этого подонка, чтобы он, наконец, понял, что не надо их мучить, даже ударил её. Два раза.

Ирочка тогда и решила, что такой негодяй не должен жить.

Каждое утро, когда она видела, как зевает сонный кот, как не хочет просыпаться дочка, Ирочка повторяла про себя: «Ничего, подонок, скоро ты сдохнешь».

Она завязывала на ночь двери верёвкой, подставляла шкаф для одежды, чтобы не допустить проникновения любовницы. Но муж умудрялся верёвку развязать, шкаф отодвинуть и впустить, а утром выпустить из дома, верёвку завязать и пододвинуть шкаф к двери так, как будто никто и не заходил.

Но Ирочка замечала некоторые тонкости.

Ирочке было непонятно только одно: как этому подонку удаётся находить и периодически менять любовниц, которые ночью по тёмным улицам невесть откуда не боятся идти к нему, а потом под утро возвращаться назад к себе.

Горохов Александр Леонидович родился в 1948 году. Окончил Волгоградский политехнический институт, кандидат технических наук. Печатался в журнале «Москва» и альманахах. Автор более девяноста научных публикаций и трёх книг прозы и поэзии. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Ирочке было непонятно, чем он их приманивает. Зарплата у мужа маленькая, сам лысый, пузатый и в сексе не очень. Вдобавок изо рта у него воняет гнилым зубом. Ответ на этот вопрос не давал Ирочке покоя, и она, чтобы ответить на него, решила, что этот ответ очень прост: муж — подонок!

Сдерживало Ирочку только одно. Дочка любила отца и в их ссорах была на его стороне. Хотя Ирочку дочка тоже любила и просила не ругаться с отцом, а жить мирно и дружно.

Вчера дочка уехала в спортивный лагерь на лето, и надо было срочно действовать.

Ирочка продумала всё до мелочей.

Мужу и соседям сказала, что уезжает на несколько дней к своей матери, действительно сделала так, чтобы все видели, как поехала.

В троллейбусе Ирочка нарочно, чтобы кондукторша её запомнила, протянула за билет тысячу рублей, сказав, что мелких у нее нет. Кондукторша долго ворчала, собирая сдачу, и, набрав, отдала Ирочке кучу бумажек и целую горсть мелочи. Ирочка тоже для вида поворчала и вышла из троллейбуса возле дома матери.

Поздно вечером, угостив мать тортом и подмешав к заварке снотворного, Ирочка дождалась, когда та заснёт, и, переодевшись в тёмно-серое, неприметного вида платье, отправилась обратно домой.

С собой Ирочка захватила тряпичную сумку, в которую положила нож, завёрнутый в полиэтиленовый пакет, и ещё, сверх того, в тряпку. Нож этот Ирочка нашла месяц назад. Когда нашла, сообразила, что это послание Господнее, знак Божий и пора действовать. Она осторожно, чтобы не оставить отпечатков, подняла нож с асфальта так, как видела в кино про следователей и бандитов, — взяв его пальцами, засунутыми в полиэтиленовый пакет. Ирочка была уверена, что на ноже остались отпечатки того, кто потерял этот нож, и думала, что при таком варианте её никогда не найдут и даже не заподозрят. Про потерявшего ножик она и не думала.

Отойдя от дома матери два квартала, Ирочка остановила машину и попросила довезти её, но адрес указала не свой, а тоже в двух кварталах за своим домом.

Пробиралась к дому Ирочка очень осторожно. Шла по той стороне улицы, где не было фонарей, и как только вдали появлялся какой-нибудь прохожий, пряталась в тень. В подъезд Ирочка вошла только тогда, когда оттуда вышли все полуночничавшие малолетки и алкаши, когда убедилась, что народ спит и никто её не увидит. Дверь Ирочка закрыла за собой тоже осторожно, чтобы не стукнула пружина, не заскрипели петли. Тихонько на цыпочках она прошла три этажа и остановилась у родной двери. Прислонила к ней ухо. За дверью было тихо.

2

Муж у Ирочки тоже был не дурак. Когда он узнал, что жена отправилась на неделю к матери, почувствовал редкостное облегчение от своей скандальной жизни и решил расслабиться. Отправился в магазин, купил три литра пива, леща холодного копчения, хлеба и на всякий случай чекушку водки.

Пиво муж поставил в холодильник, а рюмку из чекушки выпил. Так он окончательно почувствовал вкус свободы и позвонил другу:

— Витюля, я пиво уже в холодильник поставил. Пока ты подойдёшь, оно будет нужного градуса.

— А где твоя?

— Моя ненаглядная, в смысле глаза бы на неё не глядели, укатила к своей матери на неделю.

— К какой матери? — переспросил Витюля, имея тонкое чувство юмора. Оба довольно заржали.

Через полчаса Витюля действительно прибыл. Вместе с ним прибыли его дружок Колян и три пол-литровые бутылки самопальной водки, которую тот добывал почти бесплатно у соседки, приторговывавшей этим зельем. Кроме водки ностальгически настроенный Николай принёс трёхлитровую банку томатного сока. То ли вспомнил времена юности, когда этим разбавляли водяру, называли «Кровавой Мэри», кривились и пили, то ли просто стащил в магазине.

Нехватку закуски компенсировали обилием выпивки и вскоре, разомлев от летней жары, задремали.

Проснувшись в пятом часу вечера, отправили Коляна за добавкой и, приняв ещё по столько же, разошлись по домам. Причём Ирочкин муж вместе с Витюлей отправились к Витюле, а Колян остался отдохнуть.

3

И отдохнул.

Когда Ирочка прокрадывалась в собственную квартиру, открывала дверь, бесшумно проворачивая ключ в скважине, притворяла её, но не запирала, чтобы не шуметь, и, сняв туфли, пробиралась в спальню, обнажив, извините за каламбур, нож, Колян проснулся от страшной жажды и, нащупав банку с остатками томатного сока, присосался к ней. Свет в комнате приятели забыли выключить, однако Колян глаза не открывал, чтобы не раздражать и без того измученное зрение. После второго глотка он захлебнулся, опрокинув на себя содержимое банки, и в отчаянии заснул.

Ирочка, просунув голову в спальню, увидела кровать и в ней мужа, залитого кровью.

От ужаса она заверещала трудно повторяемым, но страшным в звучании тембром. Визг длился минут десять. К этому времени собаки завывали, соседи проснулись, выскочили на лестничную площадку и, увидев незапертую дверь Ирочкиной квартиры, в порыве отчаянной храбрости, возникшей, наверное, под воздействием визга, ворвались в квартиру и вбежали в спальню.

Посередине спальни, размахивая ножом, визжала Ирочка, а в кровати лежал вовсе не Ирочкин муж, а чужой мужик, залитый кровью.

Бдительные соседи заломили руки и связали Ирочку, выволокли её на кухню, закрыли, чтобы не затоптать следы, дверь в спальню и вызвали милицию.

Ирочка немного отдышалась, перешла с визга на рыдания, а затем на нечленораздельную речь и всхлипывания.

Её монолог сводился к одной многократно повторяемой фразе и звучал, примерно, так: «Это не я его зарезала, я его не убивала, он был такой, он сам зарезался!»

Милиция прибыла на редкость быстро.

На вопрос «в чём дело?» соседи рассказали про убийство, задержание и сообщение в милицию. Милиционеры, молодые курсанты-практиканты, мельком заглянули в спальню, увидели окровавленное тело на кровати, сказали «понятно» и сообщили по шипящей рации об убийстве на бытовой почве, задержании подозреваемой и необходимости приезда следственной бригады.

Получив команду ждать, они закрыли дверь в спальню, прошли на кухню, переписали соседей как свидетелей, отпустили их по квартирам досыпать, а сами на двух табуретах остались ждать более опытных соратников по борьбе с криминалом. Ирочка, всхлипывая и повторяя, что она ни в чём не виновата, что ни кого не убивала, сидела на третьем табурете. Её голос убаюкивал блюстителей порядка.

В это время Колян, переполненный продуктами переработки выпитого, проснулся. Обматерил пролитый томатный сок, вымазанные простыни, остальное, что попало на глаза, и отправился в туалет.

Ирочка вторично заверещала. Курсанты проснулись. Соседи выскочили из квартир.

Колян сопротивлялся, как мог, но одолеть молодых тренированных и вдобавок трезвых практикантов не сумел. Его скрутили и приступили к допросу.

Он выбрал гениальную тактику защиты. Утверждал, что был пьян, ничего не помнит и не знает. На вопрос, за что он убил Ирочкиного мужа, ответил, что никого не убивал.

А на вопрос второго, кто же тогда убил, показал не моргнув глазом на Ирочку.

Прибывшая в это время оперативная группа труп не обнаружила.

Обескураженные практиканты заявили, что в то время, пока они проводили первичное дознание, Ирочка их отвлекла, а её сообщник перепрятал труп с целью его сокрытия, но они, как бдительные стражи закона, сумели его задержать.

— Чего? — опроверг их Колян. Но его голос услышан не был.

Убедившись в отсутствии трупа, профессионалы впали в особый раж. Они начали проводить следственные действия с особым пристрастием, а именно обыскали все закоулки квартиры и балкон.

В процессе обыска была найдена бутылка водки, породившая в мозгу Ирочки и Коляна одну и ту же мысль, не принятую говорить о покойниках: «Заныкал, падлюка!!!»

Кроме того, было найдено двести рублей, старых, ныне не действующих, запрятанных Ирочкой от мужа давно, очень давно, и потом забытых, а также её золотое кольцо, года два назад подаренное Ирочкиным мужем любовницам, но, как теперь оказалось, утерянное самой Ирочкой. Муж за кольцо был презираем и бит. Тогда-то у Ирочки впервые и возникла мысль перерезать ему горло.

Труп обнаружить не удалось.

Колян в коридоре долбанули под дых и шёпотом спросили:

— Куда, гад, дел труп?

Колян заорал не столько от боли, сколько для того, чтобы народ слышал, как пытаются невинных граждан. От него отвязались, но надели наручники и поставили с широко расставленными ногами, лбом уперев в стену комнаты.

В это время в квартиру вошёл эксперт-криминалист, замешкавшийся с приездом на место преступления по причине небольшого перекуса.

— Ну, — спросил он людей в погонах, — улики все затоптали или по недоразумению что-то осталось?

— Ничего не трогали, только сделали обыск.

— Ну-ну, — обречённо вздохнул он.

— Мы место преступления не трогали, — оправдывался старший.

— А где оно, это место?

— Кровать. Вся в крови. К ней не приближались.

— Ну-ну, — примирительно ответил словоохотливый криминалист и подошёл к грязной и скомканной постели.

Сначала его лицо выражало внимание, потом процесс осмысления, затем недоумения и, наконец, презрения к коллегам.

— Идиоты, это томатный сок. Пожрать толком не дали.

Эксперт сам приступил к допросу, в процессе которого выяснил, где теперь может находиться Ирочкин муж.

Колян вспомнил номер телефона Витюли, тому позвонили, и после пятиминутного гудения трубка охрипшим от принятого голосом хозяина ответила.

Эксперт представился, попросил разбудить Ирочкиного мужа, и когда тот взял трубку, велел срочно вернуться домой, пригрозив в случае задержки арестом. Законопослушный муж через мгновение был дома.

Убедившись, что все живы, убитых, зарезанных, покалеченных нет, полиция составила протокол и уехала. Соседи тоже разошлись. Ирочка осталась на кухне одна. Муж, не до конца понявший, что произошло, походил по комнате, поворчал и тоже пришёл на кухню.

Ирочка посмотрела на него и зарыдала. Она плакала сначала просто потому, что началась истерика, потом из-за того, что хотела зарезать своего дурака да не сумела. Потом плакала потому, что любила его, любила, несмотря на вечное безденежье. Плакала из-за неудавшейся жизни, из-за того, что осенние сапоги прохудились, а купить новые нету денег. Плакала из-за того, что надо помогать дочке, только начинавшей самостоятельную жизнь, но нечем. Муж обнял её, стал успокаивать, гладить по голове и говорить, что всё пройдет, образуется, что будет хорошо.

А Ирочка сидела и заливалась слезами, уткнувшись в его мягкий живот, в майку, вылезшую из-под рубашки с оторванной пуговицей, и плакала от счастья, что не зарезала его, такого родного и любимого.

Григорий Князев

На вселенском сквозняке

На велосипедах

Пронзительный ветер качает
Деревья,
 бельё,
 провода,
И воздух сыреет, крепчает,
Всё зреет и зреет вода.

Мы в солнечных кепках и кедах,
Две радужные стрекозы,
Несёмся на велосипедах —
Ты с детства боишься грозы.

— Настигнет всерьёз — неужели?
— Быстрее педали крути!
Успели,
 успели,
 успели —
В минуте от ливня — уйти.

* * *

Мне от падений и опозданий
Защиты нет —
Лежу, упавший, на чемодане:
Прощай, билет!

II

Длинный год — никак не минует...
Испытует, экзаменует
И вдовца, а с виду — юнца.
Мне осилить бы вместе с горем
Эту реку, ставшую морем, —
Ни начала ей, ни конца.

Мне прорвать бы дамбу — горячим
Благодарным и светлым плачем,
Оказаться на берегу,
Где на ясных широких волнах
Расцветает солнце-подсолнух,
Спит подснежник, прячась в снегу.

Роковая близится дата.
Не обидою сердце сжато
В напряжёнno большой кулак,
Но такой усталостью лютой,
Но такой бессонною смутой,
Что и плыть-то, плакать-то — как?..

* * *

Нахлынут горлом и убьют!..

Б.П.

Боюсь, боюсь я цвета красного —
В нём слышу крик большой беды,
В нём вижу знак удара властного:
Сперва — рождения опасного,
А вскоре — гибели звезды.

Но сердца ровное горение —
Не тлей, и не перегорай,
И не взрывай стихотворение,
Как могут бунтари и гении, —
Выплёскивая кровь за край.

На пороге

О, одиночество, как твой характер крут...

Б.Ахмадулина

Дождь набирает обороты,
И тянется за нитью нить,
Чтоб землю с небом в час работы
Суровым швом соединить.

На чердаки и черепицы
Стежки короткие кладя,
Скажи, куда нам торопиться,
Машинка швейная дождя?

Пока твои тупятся иглы,
Вонзая в крыши острие,
В пути меня врасплох застигло
Взросленье позднее моё.

У времени в широком устье
Ещё немного постою
И гляну с нежностью и грустью
На жизнь мою,
На жизнь мою.

Фестивали и конкурсы

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВОЛОШИНСКИЙ КОНКУРС

Номинация журнала «Дружба народов»:

«ЕСТЬ ДУХ ИСТОРИИ — БЕЗЛИКИЙ И ГЛУХОЙ...»

Лауреат:

Дарья СЕЛЮКОВА (Белгород)

Дипломанты:

Роман ВОЛИКОВ (Мурманск)

Александра КРАВЧЕНКО (Курск)

Елена ЧЕРНИКОВА (Москва)

Андрей ШАТОХИН (Орёл)

Двадцать два года чтения: от сетевых поэтов до всеписателей

Я двадцать два года читаю Волошинский конкурс — как эксперт, как член жюри, как редактор и простой читатель. Читаю поэзию, прозу, драматургию, критику, эссе — в разные годы в конкурсе было много различных номинаций. Сейчас остались те, с которых мы когда-то и начинали, — поэзия и проза, базовые жанры литературы.

Авторы, темы, стилистика все эти годы меняются. Когда-то начинавшие авторы, участники Волошинского конкурса, давно стали мэтрами и членами больших жюри. Пришли новые молодые (и не очень) писатели заявить о своих правах. В начале 2000-х это были сетевые писатели из только ещё зарождавшегося русского интернета. Сегодня интернет — гораздо большая часть жизни современного человека, чем двадцать пять лет назад. И писатели-блогеры сегодня успешно конкурируют с писателями обычного книжного формата.

В литературе меняются поколения, не меняются только сами люди, как когда-то заметил Михаил Булгаков устами своего персонажа. Их по-прежнему волнуют жизнь и смерть, война и мир, любовь и Бог. После миллионов написанных об этом книг сказать что-то новое на эти темы невероятно сложно. Нужно вообще иметь большую смелость, чтобы писать про это.

Однако сейчас, на мой взгляд, уникальное время «всеписателей». Сейчас пишут все. И все всех учат писать. Это как период всеобщей грамотности — вначале учатся писать, а потом из этой массы научившихся элементарной грамотности начнут выкристаллизовываться те авторы, кто слышит другую радиоволну, — радио Бога, радио вечности. Всеписатели падут, развеются, рассыпятся в прах, мир перевернётся вокруг своей оси, взойдёт новое солнце и осветит новую землю. Так будет. Может быть, через сто лет, может быть, через пятьдесят. А может быть, гораздо быстрее, чем можно себе представить. Новый Достоевский и новый Пушкин стоят за дверью.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей список победителей в номинации журнала «Дружба народов» и рассказы некоторых из них.

*Андрей КОРОВИН, поэт,
организатор и вдохновитель Волошинского конкурса*

Дарья Селюкова

Ночная лига пинг-понга

Рассказ

Живопись ей всегда давалась лучше, чем графика: глаз сам цеплялся за цвета, из них уже создавая формы.

Она навсегда запомнила, какого цвета было небо в то утро, когда бежала к банкомату.

Ясное, тёмно-синее, — чем ближе к яркой луне, тем голубее. И предзвездные звёзды как холодные льдинки.

Банкомат был рядом с домом, деньги в нём оставались, — не все ещё проснулись от грохота и дрожи стёкол, не все прочитали новости.

С первыми лучами солнца заклеивали с подругами окна малярным скотчем, крест-накрест. Откуда они узнали, что так надо? Не мама сказала, точно. Может, вспомнились бабушкины истории.

Собрали «тревожную сумку», скинули туда все лекарства из холодильника, какую-то одежду. К счастью, Маше нужно было на работу, иначе она с ума бы сошла: тело требовало движения, сердце колотилось. Остановись на секунду, и тебя захлестнёт водоворот: не успеешь, не узнаешь, не убежишь...

Но люди приходили за кофе как обычно. Невыспавшиеся и бледные, вполголоса обсуждали за столиками, кто где был, кто что слышал, кто как узнал, уезжать или нет... Каждые пять секунд проверяли городской канал в «Телеграме». Запивали бесплатной подкислённой водой валерьянку.

— Дейнека странный, — сказала Влада за неделю до. Или за две недели до?

Вся зима слиплась в грязный снежный ком. Она тогда листала альбомы советских художников, прямо в кофейне писала курсовую за себя и за Машу, ничего не успевавшую из-за конкурса.

— Смотри, что он пишет: «Сквозь выюгу, снег, который сечёт лицо и рвёт с плеч плащ-палатки, мчался танк с людьми на нём, в масле, копоти, обледенелыми, с обожжёнными морозом лицами и заснеженными бровями и ресницами. Это был Микеланджело, барочное буйство человека и природы...». Это же танк, машина смерти. Какое барокко? При чём тут Микеланджело?

Селюкова Дарья Александровна — писатель-фантаст, переводчик. Родилась и живёт в Белгороде. Окончила Белгородский государственный университет. Печаталась в «Дружбе народов» и «Сибирских огнях», трижды стипендиат «Липок».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Тогда Маша тоже не поняла. Не поняла и потом: не было в танках никакого «барокко», — они ехали на больших грузовиках, маленькие и понурые, как наказанные дети.

Влада сняла очки, потёрла усталые глаза.

— Ладно, ты лучше наброски для конкурса покажи. Я ради чего тут сижу?

Маша нырнула под прилавок, сделав вид, что надо срочно достать документы для курьера, который даже ещё не звонил.

Наброски были. Такие, что Влада её вместе с планшетом в окно выкинет, и никаких больше курсовых.

— Ну... Давай я тебе лучше концепцию расскажу. Это конкурс датской Академии искусств. Я решила взять какую-нибудь скандинавскую легенду. Тор, Один — вот это всё.

— Это же все будут рисовать. Тогда уж лучше что-нибудь не очень известное.

Маша усмехнулась, но невесело. Конечно, она знала, что это банальщина. Но больше ничего в голову не шло.

— Я подумала... Есть легенда об Аслауг, которой Ярл сказал прийти не голой — не одетой, не пешком — не верхом, не сытой и не голодной, что-то такое. И у нас есть такая же сказка про умную крестьянскую дочь. Соединение народов через сказки. Только как это нарисовать...

— Помнишь, как Егорыч всегда говорит на пленэре? «Глаза есть, значит, рисуешь. Ты увидь!»

— «Слоны, вон, без рук даже рисуют, хоботом», — продолжила Маша и улыbnулась. — Я так хочу Копенгаген посмотреть! Может, мне там понравится, жить останусь.

Маша понятия не имела, как живут люди в Дании. И так понятно, что там её бы признали, дали какую-нибудь стипендию. Что там можно вдохнуть полной грудью и творить, не боясь, что запретят, что деды из союза художников и препода будут косо смотреть. Там можно быть смелой.

Но оказалось, что смелой придётся быть дома.

Маша проснулась оттого, что дрожат стёкла. И что-то грохочет, как салют на 5 августа. Это Большая политика с грохотом шагала по земле.

А потом начали погибать люди.

Солнце спряталось, повалил густыми хлопьями снег. Сквозь него буханье арты казалось мягче. Глухие далёкие звуки, почти не страшные. Если не думать, кто их издаёт. Главное, что это «наши».

Откуда это взялось? Разве раньше она делила мир на «наших» и «врагов»? Это разве нормально в двадцать первом веке?

«А я кто? — думала она, бесконечно листая новостную ленту. — Я своя или враг?»

Я хороший человек или плохой? Что делает хороший человек? Борется? Уезжает?

Уж точно не застывает под одеялом, включив все сезоны «Друзей» и надеясь, что вот-вот всё закончится.

«Я уеду, — думала она. — Выиграю конкурс и уеду».

Тогда судьба сама скажет, кто я.

И судьба сказала.

Маша ещё не успела послать на конкурс работу, — где тут было рисовать, — а письмо от комиссии уже пришло.

«...Сообщаем, что в связи с произошедшим 24 февраля... *отклоняем все заявки участников из России и Белоруссии...*»

Я своя или чужая? Вот и ответ. Всем — чужая.

Всем «хорошим», «правильным» людям *там* — чужая.

— Хорошие?! Но это предвзятость! — возмущалась она, взад-вперёд ходя по Владиной мастерской.

Строго говоря, мастерская была Владиного дедушки — бежевая каморка на чердаке общежития, заставленная пластичными глиняными статуэтками, завешанная тряпичными куклами и странными картинами: люди и животные перетекали друг в друга, глазастые, голые и мягкие, беззащитные, как в первый день творения.

Но дедушка в последнее время всё больше писал пейзажи на даче, так что Влада могла развернуться. Сейчас она, например, лепила из папье-маше быка размером со швейную машинку, а на быке — пузатого, кудрявого голыша, раскинувшего ручки: то ли омаж к Петрову-Водкину, то ли карта таро. Крутые бычьи рога изгибались белым холодным полумесяцем. И короткие синие волосы Влады забрызганы были белым, — словно звёзды высыпали на ночное небо.

— Забей, люди все одинаковые. Им сказали не брать русских, они и не взяли. А что им — протестовать?

— Да! — Маша схватила кружку с чаем, прижала обеими руками к груди, как амулет. — Сказать, что это несправедливо! Что все имеют равные права! Я же просто обычный человек... Даже хороший. Наверное.

— А ты думаешь, это тебе решать, кто ты, — хороший человек или плохой, жить тебе или умереть?

Маша остановилась.

— Что?

— Помнишь ту прикольную цитату из Дейнеки про танк? — Влада любовно раскатала ладонями бычий хвостик из салфетки, прилепила на круп. — Я тебе сейчас ещё цитату скажу. Дедушка любит Стругацких, и когда его обижает кто-нибудь, он говорит: «Я для него по Гегелю дерьмо и по Зурзмансору дерьмо».

— И что?

— Да то, что каждый сам для себя определяет, кто хороший, а кто плохой. Что справедливо, а что нет. И Гегеля каждый выворачивает, как ему удобно. И Платона. И Библию. Если кто-то для себя решит, что правильно и хорошо будет тебя убить, — как ты его переубедишь?

Маше послышался глухой удар вдалеке. Может, стройка. Может, нет. Она подошла к окну, выглянула проверить, не идёт ли где дым.

Но ведь должен быть способ переубедить, так?

Только вот никто его не нашёл. И люди продолжают умирать.

Лёжа без сна, Маша сочиняла местные новости: умирала от взрывной волны, от потери крови, от обвалившегося потолка. И во всех этих смертях была виновата сама: села не там, вовремя не ушла, захотела латте...

В некоторых историях она выживала, но всё равно оставалась виновата. Не смогла никому помочь. Села на чужое место. Немного успокаивало, если она оставалась изуродована осколками или получала инвалидность. Наказание, но не смертельное...

Вот только наказание за что?

За смерти чужих людей, ставших вдруг врагами? Нет. Наверное, за страх. Склизкий ком страха, тяжёлый, как болотный камень, не давал делать ни плохого, ни хорошего. Только обычное.

Поэтому, когда тот парень зашёл в кофейню с флаером, она его чуть не выгнала.

На жёлтом листе А4 красовались, как герб, перекрещенные ракетки для настольного тенниса, скакали мячики, свисали на нитках звёзды. А посреди всего этого красовалось крупными буквами: «ночная лига пинг-понга». И даты внизу.

— Здравствуйте, — сказал кудрявый и выставил листок вперёд, словно гордился. — Я из молодёжки, можно у вас повесить?

Он был такой радостный и весёлый, с карими блестящими глазами, что Маше стало противно. Завидно.

— А что это? — спросила она.

— Ночная лига пинг-понга. Вечером начинаем, тусим, в перерывах кино смотрим. Диджеи будут... Приходите, у нас там призы парню и девушке. — Он улыбнулся и тут же добавил: — Окон нет.

— А парню и девушке... Это в смысле парам? — спросила Маша и покраснела.

— Это женская и мужская лига. Но приходите с парнем, конечно.

«Чего он лыбится?» — подумала Маша, чувствуя, как от стыда начинает злиться.

Неловко перегнувшись через стойку, выхватила у него плакат.

— Ага, спасибо, я повешу.

Он постоял немного, поправил рюкзак на плече.

— Ну ладно.

Дошёл до двери, обернулся.

— Я Платон, если что.

И ушёл.

Ничего не боялся, выдумали какую-то ночную лигу пинг-понга. Словно ничего не происходит, словно смерть не тянет руки из темноты, из ледяной небесной синевы...

Она даже до Влады дотянулась. Собирались «кружком перелётников» обсудить новый проект, а вместо этого пришлось подметать осколки фигурок и посыпавшуюся штукатурку, проверять, целы ли картины. Влада сидела на засыпанном побелкой столе, прижимая к себе безголового бычка, и казалась совсем потерянной. Младенца, сидевшего когда-то на бычке, раздавили рабочие, забивавшие окна.

Маша бросила веник и обняла её, стараясь не раздавить ещё и бычка. Влада только вздохнула и прижалась ухом к груди.

— Осколок во двор упал, — тихо сказала она. — Уже приходили, сказали, что окна заменят. Надо что-то со стенами делать. И с потолком...

Гадкое чувство. Всё равно как вернуться после учёбы домой и понять, что кто-то ходил в грязных ботинках, выворачивал шкафы, трогал вещи.

Смерть вернётся. Этот район удобно расстреливать от...

— Девки, параноите? — вернулся Тёма с полными пакетами всякой дурацкой еды: с колбасой, с чипсами, сыром, нарезанным батоном и бутылками дешёвого вина.

Алина шлёпнула его мокрой тряпкой и быстро поцеловала.

— Надо было бронежилеты нести.

— Ага, и каски, — включилась Вика, мывшая полы. — Маш, ты дометать будешь? Я сейчас шваброй всю грязь развезу.

Маша схватилась за веник, Влада решительно прыгнула со стола, и поднялась обычная суета: колбасу нарезать, где штопор, ладно, попробую вилкой пропихнуть...

Пока не завывала сирена. Пока не загремело вновь.

Маша застыла не дыша. Забитые деревоплитой окна казались надёжнее, но бухало прямо над ухом: ближе, ближе, ближе...

Выдох.

— «Вампиры», — бросил Тёма и выругался, бледный. Веснушки, — как крошки кукурузы в молоке. — Будто над нами прямо сбивали.

— Нет, — ответила Вика, уткнувшись в телефон. — Это на Крейде, где авторынок. Пока о раненых не пишут.

— Это пока, — вздохнула Алина и налила Тёме вина.

Они начали спорить, где построят раньше, где позже, а Маша не могла включиться. Ей захотелось уйти. Если умирать, то лучше дома, чем здесь, но чем лучше, — она понять не могла. Всё-таки тут друзья...

— Так выставку будем обсуждать? — вдруг спросила Влада. — Да чего вы в телефоны уткнулись! Ладно, давайте бункер сделаем.

Она решительно встала, порылась в углу и вытащила что-то большое, брезентовое и шуршащее.

— Дедова старая палатка! — объявила она. — Железки куда-то делись... Короче, вот этот край на стол, а этот...

Никто не стал спрашивать, как это поможет, если кусок ракеты вдруг пробьёт потолок. Еда переехала в шалаш, нашлась свечка. Для «перелётнического» настроения она обязательно нужна была...

Звякнул у Алины телефон, и снова завывла сирена.

Может, в этот раз проне...

Удар. Ещё удар. Ещё. Как по лицу наотмашь.

— Давай бояться вместе! — тоненьким голосом мультяшного котёнка сказала вдруг Вика и схватилась за Владу, Влада за Тёму, тот за Алину, Алина подтащила к себе Машу, и они сжались все тёплым, дышащим «ламбруско комом».

— Страшно-о! — пропищала Алина, и все засмеялись.

— Страшно — пипец!

— Тём, не ори!

— Тихо, не слышно, это уже отбой говорят или что?

— Какой отбой, ещё про ракетную опасность не говорили... Ай, кто меня щекочет?!

Маше было и смешно, и страшно, и раздражало, что ничего не слышно из-за этих дурачков, — ни бахов, ни сирены...

— Недолётчики, хватит флудить, — сказала она, отцепляясь от кома. — Нам вообще выставка нужна? Ну, сейчас.

На неё посмотрели удивлённо. Как вообще может быть не нужна выставка?

— Короче, — Влада села ровно. — Сейчас гулять опасно, так? Поэтому сделаем сад в подвале. И это будут разные сады: Эдемский сад, бабушкин сад в деревне, детский сад...

— Маркиз де Сад, — убийственно серьёзно добавил Тёма, за что получил локтем по рёбрам. — Нет, серьёзно, крутая идея. Повесим какие-нибудь цитаты из Чехова: «все в сад» типа.

— А «Сад земных наслаждений»?

— Ну, слишком сложно, тут же концепция в другом, — Вика захрустела яблоком. — Что сад может быть везде и всегда. Это как душа, понимаете? Или как память.

Маша понимала. И не понимала. Сад как душа? Что... Зачем...

Она впервые почувствовала себя среди «перелётников» чужой.

«Искусством занимаешься? А люди сидят в метро, без света. Города в руинах», — бормотал внутренний голос.

«Сколько я должна страдать, чтобы ты заткнулся?» — спросила его Маша, залпом опрокинув стаканчик.

«Всегда будет мало», — честно ответил внутренний голос.

Просто чувствовать себя виноватой за мелочи. А если цена искупления — твоя жизнь, и другой цены не предлагают?

Маша не хотела умирать. И это всё решило. Но радости решение не принесло.

Когда стало совсем плохо, она взяла отпуск и уехала к маме.

«Совсем плохо» было не только внутри. Совсем плохо было в блёклом небе и на серой земле, сливавшейся с небом на горизонте. Как будто ничего, кроме бесконечной зимы, не осталось.

У мамы было не тише, — на краю посёлка дом сложился, как детский конструктор, выжили двое.

Свиться бы с кем-нибудь в тёплый клубок и уснуть до весны! До настоящей весны. Но уснуть не получилось, потому что у мамы постоянно стоял тарарам: на просторную кухню приходили тётушки со всего села делать окопные свечи и печь пирожки, вязать шарфы и странные варежки с двумя пальцами. С веранды наконец-то убрали хлам и поставили рамы. Вокруг сугробами возвышались обрезки белых лент и тюля, мотки делей. А на раме, туго натянутая на прибитые внизу гвоздики, раскинулась *она* — сеть — белая, пухлая, узорчатая.

«Наша невеста», — ласково сказала мама, глядя красоту. Обычные сетки плелись из специальных тканей, но на эту, нежную, снежную, пришлось снести из домов все старые шторы, изжёванные кружевные салфетки, детские платья снежинок с новогодних утренников. Всё, чтоб похоже стало на снег в полях: где-то ноздреватый, подтаявший, где-то гладкий, где-то рыхлый, с кремовыми пятнами от подтаявшей глины.

Плели «невесту» кусками, потом сшивали. Маша даже думать боялась, для чего она, такая огромная. Для того, чтобы спрятать танк, который будет убивать потом людей? От этой мысли ей было неудобно. Она сплела несколько рядов «розеток» сама, а потом ушла к маме на кухню помогать с горячими обедами для волонтеров. Несколько раз при бомбёжках поварахи выбегали в коридор, держа перед собой руки в муке и фарше, а потом перестали, — «не набегаешься». Среди больших окон и тонких потолков от судьбы не убежишь. И отчего-то Маше стало спокойнее.

Может, смерть — это не так страшно, в конце концов? Раз не все её боятся.

По ночам бывало шумно. Мама решила просто спать, не выбегать в коридор каждый раз. Но Маша не могла так: затащила в ванну тюк с готовой для отправки «невестой», постелила одеяла, бросила подушку. Укуталась до ушей, свернулась, как белка в спячке, сама в себя. Прижалась щекой к «невесте». Какая же красивая... И с какой любовью тётушки её делали! Может, нарисовать это? И деревянную веранду, залитую холодным зимним светом, и запотевшие окна, и...

...И потолок раскрылся, морозное, звёздное небо заглянуло в дом.

Маша открыла глаза. Звёзды моргали, глядя в ответ, с остатков крыши ветер сдувал серебристую позёмку. А может, бетонную пыль.

Если нет крыши, значит, второго этажа нет тоже. Значит, удар был такой силы, что всё смело.

Значит, в соцсетях напишут, что не выжил никто.

«Тогда почему я ещё могу смотреть?» — подумала Маша. Но тут ванна, заскрежетав чугунными боками, вырывая трубы, начала подниматься всё быстрее и быстрее. Маша вскрикнула, попыталась удержать разлетающиеся по сторонам одеяла, подушки, но они исчезли где-то во тьме.

Холодные звёзды становились всё ярче и ближе, и Маша совсем замёрзла в одной футболке. Чтоб согреться, она выпустила из кокона белую сеть-невесту, закуталась. Тюль ласкал плечи, ветер трепал волосы.

Она свесилась с края, пытаясь разглядеть дом, но увидела только оранжевые огни дорог, тёмные провалы улиц... Куда прилетело? Что напишут...

— Привет! Пришла всё-таки?

Маша вскинула голову и увидела кудрявого Платона из молодёжки. Он парил перед ней, растопырив руки, словно космонавт в невесомости. Приподнялись кудряшки, завязки худи стукались одна о другую.

— Привет... — Маша поплотнее завернулась в сеть. — Куда пришла?

Платон сверкнул улыбкой.

— Это же Ночная лига пинг-понга! Пошли!

Он протянул ей руку...

«Почему нет? — подумала Маша. — Я ведь уже... Всё. Так какая разница, что я делаю? Лига так лига...»

Она неловко приподнялась, сжимая сеть, стесняясь смотреть на Платона... Но что-то само потащило её вверх, пришлось схватить его за руку.

«“Невеста!” Главное, “невесту” не потерять, её же везти завтра...»

Ладонь у Платона была такая тёплая...

«А ведь это не она, а я, — невеста, — вдруг поняла Маша, глядя, как надулась вокруг сеть, словно колокол медузы. — Не голая — не одетая, не пешком — не верхом...»

Среди звёзд мелькнули тусклые искры, выстроились одна за другой... Прокатился грохот, страшный свист. Маша невольно прижалась к плечу Платона.

— Что это? — прошептала она, хотя прекрасно знала что. Так летают «Вампиры».

— Ночная лига пинг-понга, — спокойно сказал он. — Смотри!

И правда, из-за леса, словно струи поющего фонтана, поднялись ракеты. Каждая — в свою цель, — так чисто, так чётко! Только осколки разлетелись, осыпались на дрожащий огнями город внизу. Чьи там уверенные руки внизу отбивают каждый удар?

Платон потянул её дальше, и вот уже исчезли городские огни, внизу тёмным морем раскинулись поля. Но где же снег? Тётушки что, зря старались, плели белые...

Зажглись внизу фары грузовика, зашипела рация. Маша увидела лабиринт окопов, устланных светлыми сосновыми досками, смолистые брёвна ДОТов, торчащие из земляных холмов.

Вспыхнул на краю темноты огонёк сигареты, затем второй.

— Морозит... — хрипло сказал кто-то. — Чё там, снег обещают?

— Снег бы хорошо, а то сидим тут, бляха, как на ладони.

Снег... Конечно! Вот зачем «невеста» такая большая... Маша разжала ладонь, и ледяной ветер сдул сеть. Она раскинулась пологом, секунда, и располагаи уже не видно под сплошным ковром.

Дальше, дальше! Небо на востоке начало светлеть, улицы посинели внизу, потом порозовели... Частные домики сменились многоэтажками, обожжёнными сверху, заваленными мешками снизу. Маленький уютный город, зелёный-зелёный летом, прохладная речка бежит под холмом.

— Подожди! — крикнула Маша. — У меня вон там дедушка и бабушка жили! Вон! Улица Вити Захарченко...

Она выдернула руку и полетела вниз, ведь если это всё — посмертье, значит и бабушка с дедушкой где-то тут...

Но приземлилась она совсем на другую улицу. Коснулась босыми ногами асфальта.

Стояло лето. Раннее тихое утро, та самая одна минуточка до будильника. Где-то завела простую песенку горлица, повеяло холодком.

Солнце проникало сквозь сети на домах, ветерок колыхал их, словно вуали. Как странно и больно. Как красиво и нежно. Светлые, маленькие пятиэтажки в фате...

В конце улицы мелькнула тяжёлая тёмная фигура, совсем здесь чужая. Всё белое, а этот человек в зелёном и чёрном. Приземистый, с огромным рюкзаком, на плече нашивка с котёнком в каске, и пол-лица закрыто. Готов вот сейчас идти куда прикажут, пахнет почему-то дёгтем, как отходящий поезд.

Блеснул над каской золотой лавровый венок. Мгновение... но вот солдат развернулся, поправил безразмерный рюкзак и зашагал куда-то, растаял между колышущихся вуалей.

«Это был последний», — поняла Маша.

И проснулась.

Она лежала в ванне, неудобно закинув ногу на раковину. На кухне шкворчала яичница. Радио бормотало что-то: «...области Гладков сообщил... В результате ночных обстрелов погибло... Ещё двое ранены...»

Вот оно.

Ужасное барокко. Ночная лига пинг-понга.

И надо выжить. Надо всё это нарисовать.

Екатерина Какурина

В одном и том же

Рассказ

Синькой это место у реки называют потому, что там водится голубая глина. Ею можно щедро обмазаться и обмазать других. Чтобы скрыть свой секрет, Маринка ничего лучше бы и не придумала, поэтому с утра убедила девочек идти туда. Не то чтобы выбор был большой, второй вариант — Жёлтенькая, но к ней в последнее время повадились приходить животные, чтобы там умирать. А до Серебрянки идти под солнцем больше двух часов. Кому захочется? Плюс двадцать восемь.

Ксюшка потрогала воду ногой и крикнула: «А-а-а!»

Маринка спросила:

— Что, холодная?

— Нет. Мокрая!

Маринке от Синьки нужно было одно: чтобы никто не увидел её тела, пока она будет загорать. И с этим Синька справилась. Маринка последней забежала в воду, сделав вид, что возится с верхом купальника, в который раз заметила, что положить в него пока нечего, но заминка помогла. Резкий прыжок за спинами девчонок, и телу удалось остаться не увиденным.

А перед выходом щедро обмазалась глиной, пока Ира лежала звездой на спине, а Ксюшка на руках несла Дашу к берегу: вода ей стала до колена и сила притяжения взяла своё — обе упали с громким плеском в грязь и расхохотались до хрипа. Хулиганка-Ксюшка хотела проделать тот же трюк с Ирой, стала к ней подбираться в воде медленными шагами, но та показала ладошки над водой и привычно сказала: «Со мной так нельзя». Этой фразе научила её пару лет назад мама, увезшая её сюда через всю страну от папы, который маму обижал. Эту фразу Ира говорит, может, и часто, а как иначе, когда рядом Ксюшка со своими причудами, но обычно по делу.

Какурина Екатерина Вадимовна родилась в Смоленской области. Окончила Высшие курсы Литературного института имени А.М.Горького. Выпускница магистратуры филологического факультета НИУ ВШЭ по программе «Литературное мастерство». Печаталась в журнале «Знамя». Лауреат премии «Лицей» (2020). Автор романа «Маркетолог от Бога» (Азбука-Аттикус, 2024). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Ксюшка решила теперь приставать к Маринке:

— Бросай глину в меня!

Маринка бросила, Ксюшка увернулась.

— Мазила!

Маринка иногда думала, не называют ли их с Ксюшкой уменьшительно потому, что они, в отличие от Даши и Ани, ещё не стали девушками. И в один прекрасный день станут ли они автоматически Мариной и Ксенией? А если этого вообще не случится, будут ли её звать Маринкой до старости? Ксюшку будут, от неё любая серьёзность отскакивает, она глину вон размазывает по лицу и волосам.

Стали загорать. Поделили на четверых пластинку виноградной жвачки. Ира села по-турецки, накинув поверх головы и тетриса полотенце, чтобы лучше видеть блёклый на солнце экран. Играла со звуком, со щелчками вжимая кнопки, надписи под которыми от времени и усердия уже стёрлись. Неугомонная Ксюшка изображала звуки тетриса каждый раз, как их слышала: радостный «тынь-тынь» и недовольный «куzum-куzum». Девчонки смеялись.

Когда глина пошла черепками, начался новый для Маринки этап — её облупить, чтобы потом незаметно надеть штаны. Но глупая глина отлетала только там, где была намазана густо, а местами легла как краска. Маринка маялась и, наконец, решила, пока девчонки лежат лицами вверх, быстро прыгнуть в воду. Удалось. Обратно Маринка вышла, когда все собирались. Схватила свою одежду и никто бы не заметил, но надо было Ксюшке, надевая кроссовки, сдать назад.

— У тебя тут не отмылось! — она потёрла одно из тёмных пятен над почти надетой штаниной.

— Ай.

Ира нагнулась, Даша тоже посмотрела. Теперь уже не скрыть.

— Просто ремнём за двойку, — бормотала Маринка, — там случайно на спину и на ноги попало.

— Надо что-то делать, — сказала Ира.

Но что сделаешь, мамы у Маринки нет, слишком пожалуешься на папу — заберут в интернат, пожалуешься не слишком — пеняй на себя.

— Не, ну так или этак синяков больше будет, — подвела итог Ксюшка.

Все помолчали. Даша заплакала. Стала Маринку обнимать, гладить по волосам. Ну и Ксюшка присоединилась, не смотреть же. Ира обнимать не стала, повторила только: «Надо делать что-то».

— Вообще, такой он интересный, этот твой папа, — заворчала Ксюшка, — перевёл в нашу школу, чтоб тебя микрорайоновские не обижали, а сам бьёт. Взрослые такие глупые, не могу.

У Маринки сквозь слёзы прорвался смешок. Её перевели после Нового года. А в феврале пришли микрорайоновские показать на заднем дворе, как надо с Маринкой обращаться. Ира сказала: «В нашей школе её обижать не будут, у нас тупых нет». Была серьёзная битва в снегу, на счастье, мягком, но снежками доставалось больно. Для Маринки это была впервые счастливая боль. Так они стали дружить вчетвером: Маринка и те, кто её защищал. И даже одеваются

теперь одинаково, потому что они команда. Сегодня вот белые штаны и топик. У Маринки уже слегка выцветший, но любимый, с «Титаником».

Было решено пойти на рынок и купить арбуз на деньги из банка, который они сколотили на прополке огурцов у Дашиной бабушки. Хотя и договаривались не раздражать своей дружбой микрорайон, но ведь Маринка любит арбуз. Надо её порадовать.

У входа на рынок им встретились мелкие и сказали, что микрорайоновские их ищут. Маринку сковало знакомое чувство: где-то в ком-то другом поднимается волна ярости и остаётся только ждать, когда она рухнет на тебя. И чем дольше прячешься, тем сильнее ударит.

— Надо идти в безопасное место, — сказала Даша.

— Значит, по домам? — спросила Ксюшка.

На секунду все замолчали и посмотрели украдкой на Маринку по очереди.

— Нет, в домик, — решила Ира.

Домиком называли небольшой сарай из досок на дереве, глубоко в пролеске за частным сектором. Никто из детей про него не знал. Откуда он там взялся, непонятно, девочки решили, что когда-то давно его «построили бомжи». Нашли, обжили, оклеили плакатами из журнала Cool Girl, и теперь это их домик.

— А что будем делать с дядькой? — вспомнила Ксюшка.

По пути к домику, в начале пролески, то и дело расхаживал дядька, и старшие девочки говорили, что ходит он там не просто так, а чтобы «демонстрировать».

— Что демонстрировать? — спросила наивная Даша.

Ей объяснили.

— Мне девочки из десятого Б рассказывали, — сказала Ксюшка.

Проверить не хотелось.

Ира придумала. Вспомнила большое зеркало, которое видели сегодня на помойке. С зеркалом на вытянутых руках можно мимо любого подозрительного человека пройти. Девочки обрадовались, глаза загорелись! Стали смеяться, перебивать друг друга: представлять, как это будет.

Все вместе дошли до мусорной кучи и взяли зеркало. Пошли в пролесок на охоту.

Дядька расхаживал, где и ожидалось. Увидев девчонок, сначала заинтересовался, но как только заметил зеркало, весь как-то съёжился, сунул голову в плечи и ушёл.

Как они смеялись!

Зеркало решили поставить возле домика, и смотреться удобно.

Залезли наверх, играли в дурака, стало душно. Решили, что первый, кто вылетит, сходит за газировкой. Вылетела Ира. Даше стало её жалко, пошла с ней.

Идти до ларька десять минут. Через двадцать Ксюшке и Маринке стало как-то тревожно. Через полчаса они дошли до ларька, где встретили мелких. Те сказали, что Иру и Дашу поймали.

На заднем дворе начальной школы смеркалось и не было видно лиц тех, кто стоял в кругу. Слышно было выкрики «что ты танцуешь?», «меня мама по попе сильнее шлепала!», грубый нарочитый смех и ругань.

Маринка и без лиц всех этих людей узнавала и до тошноты ненавидела, но боялась подойти. Она прижалась спиной к стене школы и заплакала. Ксюшка побежала вперёд и получила удар в грудь ногой от охранявшего круг паренька. Она упала и на спине проехала по траве. Маринка поднялась на ступеньки запасного выхода. Ей теперь было понятно, что в кругу: драка два на два. С Иррой дралась её главный враг — Юлька. Девочка, с которой Маринка перестала дружить, и та приняла это как предательство. Юлька всегда работала на опережение: била, унижала, будто чтобы успеть раньше, чем кто-то скажет, что она дочка двух алкоголиков, никто её не любит, и только полоумная бабка и глухой дед поддерживают в них с сестрой жизнь, но большего дать не могут. И хотя Маринка даже не думала такое кому-то рассказывать, Юлька уже жила в этой боли и искала, как её унять.

Против Даши поставили толстуху из восьмого класса. Даша не хотела и не била. Добрая Даша. Маринке стало больно рыдать.

— А что ты плачешь? — с ласковым вопросом подошла старшая сестра Юльки получить свою порцию удовольствия. Это было гадко.

— Мальчик бросил, — ответила Маринка.

Даша сдалась первая, и её заставили извиниться. Ира извиняться не хотела, и её пинали уже на земле. Кто-то вслух забоялся, что она не шевелится, и все разбежались.

Девочки плакали на ступенях под вой Даши. Ира не плакала, сплёвывала кровь. Маринка сквозь рыдания, заикаясь и задыхаясь, сказала Ирре:

— Мне больше всех жалко тебя.

Ира пристально посмотрела на неё. Стояла тишина.

— Потому что получается, — всхлипывала Маринка, — что с тобой теперь так можно.

— Со мной так нельзя, Марин. И со мной навсегда так нельзя.

Идти домой в таком виде было невозможно. Но невозможно было и не идти домой. Уже стемнело, и Ксюшкины разбитые часы с Микки Маусом показывали, что нужно что-то решать.

— Пойдём спать в домик, — решила Ира. И спросила у Маринки: — У тебя дома телефон проводной или трубка?

— Проводной, — ответила Маринка.

— А провод дотянется через окно?

Маринка, одна сохранившая утренний вид, могла тайком зайти домой и вытащить телефон. Тогда девчонки бы позвонили и отпросились у родителей на ночёвку к ней, а сами пошли бы спать в домик, потому что никаких ночёвок папа Маринки, конечно, ни за что не разрешит.

Таким был их план, но случилось по-другому. Папа ждал Маринку в прихожей. Девчонки слушали, как он ругался на неё через приоткрытую дверь.

— Всё, — Ира резко распахнула дверь, ведя девчонок за собой.

Они втроём остановились перед папой и Маринкой, которые были одинаково удивлены.

— Вы чего все в синяках? — спросил папа.

— Мы команда и поэтому ходим в одном и том же, — ответила Ира.

С минуту стояло молчание, потом Ира сказала:

— Не говорите родителям про наши синяки, — она подошла к Маринке и взяла её за руку. — И мы тоже взрослым ни про какие синяки не расскажем.

Папа сделал резкий шаг вперёд, но Ира не дрогнула. Маринка заметила, что девчонки, сами того не замечая, обступили её. Будто защищая от отца. Она задержала дыхание — таким теплом её вдруг окатило.

Ира выдержала на себе строгий взгляд Маринкиного папы.

Он бросил сквозь зубы, что дочка постоянно падает, но телефон дал.

На разложенном диване в комнате Маринки поперёк поместились все вчетвером. Девчонки с мокрыми волосами, кусками картошки на синяках, лежали и пытались не болтать. Уже в который раз настал тот момент, когда вроде бы все успокоились и даже начали засыпать, как Ксюшка шёпотом сказала:

— Сегодня акция, четыре избитых девчонки по цене одной.

И снова комната взорвалась смехом. Послышался тихий стук в стену от Маринкиного отца.

Утром уже снова были на Синьке, в креме «Балет» на синяках. Закрывая нос, опускались на дно одновременно, споря, кто первый всплывёт. Ксюшка смотрела на Марину и пыталась понять, почему та смеётся так громко, как не смеялась раньше никогда. Папа точно ей ещё всыпет за вчерашнее, и всыпет ещё не раз за следующие шесть лет, пока она не уедет учиться. Но, наверное, жить легче, когда понимаешь, что с тобой навсегда так нельзя.

Аркадий Леонов

Животные на войне

Рассказ

В детстве у меня был хомяк, но он сбежал на третий день. Рыбки через неделю плавали в отрицательном положении тела. Купленная в зоомагазине канарейка выпорхнула из клетки в открытое окно. Подаренный соседкой котёнок сразу же написал в мои туфли и тотчас был лишён права проживать в нашей квартире.

Но добил меня соседский попугай, будивший меня по утрам истошными криками: «Хер я в грибы поеду!» После этого я решил: животные сами по себе, а я — сам по себе.

Я и не думал, что однажды окажусь в месте, где никакие прежние решения не имеют значения. На войне никто животных не покупает: ни в зоомагазинах, ни в питомниках, ни на фермах... Они приходят сами.

К нам в подразделение пришёл кот. Точнее, не пришёл — материализовался. Как будто собрался из атомов, субатомов и прочей квантовой пыли. Худой, полосатый, с выражением лица кадрового офицера. Мы — временные жильцы. Он — хозяин положения.

Уминал он всё с завидным аппетитом: и тушёнку, и сухпайки, и кашу с мясом, и солёные огурцы. Но особенно уважал шоколад «Алёнка», которым его угощал Серёга. С этого момента Серёга стал его главным человеком. Остальные числились массовой.

Ночью кот спал в каске. Не знаю, как помещался. Каска маленькая. Кот — нормальный. Но он сворачивался так естественно, будто каска и была его кроватью. Днём перекочёвывал на карту местности. Лежал на ней и смотрел, словно корректировал огонь артиллерии.

Во время обстрелов мы дрожали. Он — нет. Сидел спокойно. Как будто ему известны секретные сводки.

— Ну, у нас теперь боевой кот, — сказал я однажды.

— Боевые — это мы, — ответил Серёга. — А он просто живёт. И делает это лучше нас.

Через месяц кот исчез. Мы не удивились. Появился сам. Сам и ушёл. Возможно, к новой роте. Возможно, на повышение.

К Витьке прибилась собака. Большая, чёрная, как уголь. Витька назвал её Чернышом. Лаяла на всё: на людей, на технику, на танк. Мы шутили: «Если танк испугается, — война окончена».

Черныш имел странное свойство: при нём нельзя было ругаться. Он обижался. Смотрел так, будто ты только что сдал позиции врагу. Витька уверял, что он дисциплинирует личный состав. Мы проверяли — действительно, дисциплинирует.

Когда Витьку ранило, Черныш неделю жил под его койкой в госпитале. Его пытались выгнать — не вышло. В итоге оформили официально. В журнале медсестра записала: «Порода — неизвестна. Функция — моральная поддержка».

К нам в часть приплелась лошадь: старая, усталая, с проседью в гриве, с глазами, видевшими слишком многое, чтобы удивляться.

Мы звали её Бабкой, а иногда — Марьей Ивановной. Она никогда не спешила, просто стояла рядом, жевала сухую траву и смотрела так, будто знала больше, чем мы.

Иногда кто-то подходил к ней ночью. Гладил шею, шептал о доме, о страхе, о том, чего не скажешь товарищу. Она фыркала, дышала, слушала и всё прощала. Казалось, всё видела и всё понимала.

Однажды под обстрелом мы лежали в земле, а она стояла на пригорке. Стояла и смотрела, как будто проверяла нас на прочность. И странным образом именно это придавало сил.

А потом её не стало. Никто не знал, куда она ушла. Только в грязи остались следы копыт, ведущие к посадке. Мы решили: Бабка просто пошла дальше — на другую войну, где тоже нужны её большие спокойные глаза.

Рано утром нас всех разбудил пороссячий визг. Так у нас появился поросёнок. Маленький, с умными глазами, хвостиком крючком и розовым пяточком. Он рос на наших глазах, превращаясь в солидного борова. Его звали Пых. Никто уже не помнил, кто дал ему имя. Но все знали: пока Пых жив — всё будет нормально.

Пых погиб. Осколок. Его похоронили как героя. Но даже мёртвый, Пых, казалось всё ещё рядом — и значит, всё будет нормально.

У Сани был хомяк. Белый, грязный, с глазами цвета бутылочного стекла. Саня носил его в кармане бушлата. Потом переселил в рюкзак — хомяк рос, а карман нет. Когда Саня погиб, хомяк остался. Его носил другой боец. Потом ещё один. Так он превратился в полковой талисман.

Война быстро делает людей чёрствыми. Привыкаешь к потерям. И когда погибает собака или исчезает кот, — это почему-то больнее. Наверное, потому, что они не обязаны тут быть. Мы принимали присягу. Они — нет. Они выбрали нас сами.

Если меня когда-нибудь спросят, что я запомнил о войне? Полосатого кота, который спал в каске и смотрел на нас глазами вселенской совести.

Анвар Амангулов

Непрочитанный шедевр

1

Лицо пограничника было неестественно добрым. Обычно эти поджарые парни в форме бывают куда суровее. Я протянул ему паспорт сквозь узкую амбразуру и окинул осоловелым от недосыпа взглядом его рабочее место за прозрачным пластиком. Всё выглядело очень стандартно. Рабочий стол, минимум каких-то офисных папок и большой монитор с клавиатурой. Он быстро пролистал паспорт и так же быстро постучал пальцами по клавишам.

— *Көз айнегиңизди чечип, видеокамерага караңыз¹.*

Я снял очки и посмотрел в видеокамеру. Пограничник сделал фотографию моего помятого и небритого лица и вновь сказал что-то по-киргизски, чего я уже не смог разобрать.

— *Байке, мен кыргызча бильбейм²,* — ответил я ему.

Он внимательно посмотрел на меня, но без той сверлящей пристальности, какая присуща пограничникам, но с намёком на любопытство, и спросил уже по-русски:

— Кыргызского гражданства, что, нет?

Я отрицательно покачал головой. Пограничник смачно шлёпнул печать, протянул паспорт и совершенно неожиданно добавил с неподдельной торжественностью:

— Добро пожаловать на родину.

Я всегда завидовал людям, умеющим спать в самолёте, ибо сам такой способностью не обладаю. Дорога из Ванкувера в Бишкек через Сиэтл и Стамбул оказалась долгой и изматывающей в креслах эконом-класса, неизменно пробуждавших во мне ассоциации с таким понятием как прокрустово ложе. Доехав до родительского дома, от усталости и недосыпа я чувствовал себя зомби, и хорошо, что брат, встретивший меня в аэропорту, сделал остановку в забегаловке где-то на полпути от Манаса. Оказавшись

Анвар Амангулов — разработчик программного обеспечения. Родился и вырос в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета и отделение информатики CDI College of Business and Technology (Барнаби, Канада). Печатался в «Авроре», «Дарьяле», «Новом журнале» (Нью-Йорк), «Сибирских Огнях» и др. Живёт в Британской Колумбии (Канада). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Снимите очки, посмотрите в видеокамеру (*кырг.*).

² Байке, я не говорю по-киргизски (*кырг.*).

в доме и увидев отца, я забыл о том, что ещё мгновение назад падал от усталости. Ата был невероятно худой. Смуглое морщинистое лицо казалось вытянутым, как на классических полотнах Эль Греко, и его всегда неестественно большие для киргиза карие глаза будто бы буравили насквозь. Было видно, что навалившаяся внезапно болезнь взяла своё. Он устало улыбнулся.

— *Насылсыныз?*¹ — в шутку сказал я по-турецки, подчёркивая, что ещё несколько часов назад находился в Стамбуле.

— *Жакиш*,² — ответил ата.

Последовал малопонятный мне, но неизменный ритуал с пиалой, который принят у киргизов после долгой разлуки, и мы вошли в дом, мало изменившийся с тех пор, когда я был тут ребёнком в далёкое советское время. Я открыл чемодан и стал извлекать привезённое из-за океана.

— Медовый бурбон «Джек Дэниэлс», какой ты любишь, — сказал я и поставил на стол бутылку виски.

Ата едва заметно кивнул, но особых эмоций не проявил. Было ясно, что экзотический алкоголь, столь понравившийся ему у меня в Канаде, не был во главе списка волновавших его сейчас тем. Это настораживало. Отец всегда любил жизнь во всех её проявлениях: от плавания в прохладных горных озёрах до дегустации самых необычных напитков. Я вытащил картонную коробочку с изображением абстрактного объекта и протянул отцу.

— Что это? — удивился он, рассматривая странный рисунок.

— Это генетический анализ. Узнаем твою родословную с генетической точки зрения.

В его глазах появился узнаваемый блеск интереса. Ата очень любил историю и её переплетения с эпическими сказаниями киргизов (а их очень много) и современностью. У киргизов есть где покопаться в прошлом — первые задокументированные упоминания о рыжеволосых и зеленоглазых бестиях с точно таким же племенным названием относятся к третьему веку до нашей эры. Китайские летописи тех далёких пор описывают их яростный милитаризм и военные рейды в Поднебесную с Алтая, где они тогда кочевали. Для китайской империи тех времён киргизы были сродни бичу божьему, как викинги для Британского архипелага или венгры для Моравии в Средневековье. Таких древних народов, сумевших наперекор историческим обстоятельствам не раствориться в потоке истории, а остаться отдельным этносом на протяжении тысячелетий, не так уж и много. Армяне, баски, евреи, киргизы... А где сейчас, допустим, «неразумные хазары», этруски или ацтеки? Расплавлены в горниле истории, сделавшись составной частью чьего-то этногенеза. Не то чтобы это очень важно, молодой народ или пожилой исторически. Лично мне всегда было без разницы. С учётом того, что я являюсь «продуктом» Советского Союза, я никогда не придавал особого значения этнической принадлежности, своей или окружающих меня людей. Национальность для меня была важна разве что с гастрономической точки зрения: уйгурский лагман, турецкая баклава или корейское кимчи... Только тогда я вспоминаю об этом, по большому счёту, когда случались острые ситуации с обвинениями в «манкуртизме». Но отец смотрел на историю иначе. Для него это было важно. Он изучал историю своего народа и гордился им, его

¹ Как вы? (*уважительно, турец.*).

² Хорошо (*кырг.*).

турбулентной и часто трагической судьбой, но при этом без ощущения превосходства над другими этносами, какое иногда встречается у агрессивно настроенных «патриотов».

Впрочем, а у какого народа историческая судьба без трагедий?

— Могут быть сюрпризы. Мой приятель в Канаде всю жизнь считал себя человеком шотландского происхождения, а оказалось, что генетического итальянца в нём куда больше, — сказал я, радуясь, что в глазах ата, наперекор болезни, зажётся неподдельный огонь интереса.

— Не думаю, скорее всего, сюрпризов не будет. Но посмотрим, — с энтузиазмом ответил он и показал знаком, чтобы я налил ему привезённого бурбона.

Бишкек сильно изменился с тех пор, как я бывал тут в середине десятих. Тогда, после первой революции (а всего их за новейшую историю Кыргызстана произошло уже целых три), это был полный хаос, броуновское движение автомобильного трафика и потоков людей на фоне деградирующего советского наследия — совершенно убитых дорог. Сейчас порядка стало куда больше, и особенно это бросалось в глаза на вполне приличных трассах: как в советские времена, работали светофоры и соблюдались правила дорожного движения. А самый центр города, уютный тенистый даунтаун, где расположены посольства, вообще чем-то напоминал сердцевину Сиэтла с его ухоженными улочками, пиццериями, бургерными, фирменными бутиками типа «Бенеттон» и неонам рекламных огней в ночное время.

Черты того города, в котором прошло моё детство, узнавались, но не более, чем силуэты уцелевших гор на фоне тектонических сдвигов. Бишкек теперь запросто и без преувеличения можно назвать мегаполисом, причём вполне себе современным и с особым шармом, в котором чувствуется синтез старого советского, нового западного и подлинно тюркского. Здания советской постройки в центре, часто с новым «макияжем» на фасадах, использовались мириадами разных способов, с преобладанием, разумеется, коммерческого — плотность магазинов и бизнес-офисов в городе просто невероятна.

Западное влияние чувствуется в первую очередь в наружной рекламе, которой очень много, а больше всего среди неё — бесчисленных билбордов и растяжек, призывающих закусить в KFC. Этим Бишкек сильно отличается от городов Северной Америки, где признанный лидер фаст-фудной рекламы — это вездесущий «Макдональдс». Но здесь, в сердце Азии, по какой-то неведомой мне причине казалось, что «Макдональдса» будто бы вообще не существует в природе. Зато KFC занимает почти всё рекламное пространство. Реклама, к которой привык на английском языке, звучит необычно, когда видишь её на киргизском — на остановках я видел лайтбоксы «*Сандерс картөшкөсү*» («Картошка полковника Сандерса»), только с тем киргизским звуком «ө», которого не существует в русском языке (но который парадоксальным образом встречается в английском, как, например, единственная гласная в слове girl).

Тюркский же компонент прослеживается в многочисленных узорах, подобных тем, что можно видеть на национальных коврах-ширдаках, очертаниях юрт и снежных отрогов на разных вывесках, а также мощное присутствие турецкого бизнеса в городе — в какой-то момент у меня даже сложилось впечатление, что других банков, кроме турецкого «Демир-банка», в Бишкеке просто не найти.

Одна из очаровательных деталей городского ландшафта — это удивительная лингвистическая толерантность. Вывески, реклама, витрины и бока автобусов с одинаковой частотой и лёгкостью транслируют информацию на трёх языках: русском, киргизском и английском. Кириллица мирно уживается с латиницей, часто в контексте

одного и того же объявления. Несмотря на то, что с момента независимости Кыргызстана прошло больше тридцати лет, русский язык в городе продолжает оставаться тем *lingua franca*, каким он был в советское время. Трудно сказать, сколько ещё продлится такое положение вещей, но мне кажется, что до того момента, когда русский окажется вытесненным английским и, возможно, турецким как языками-мостами в республике. Может пройти ещё пара десятилетий, как минимум.

Но и отблеск лихих девяностых, как их принято называть, время от времени даёт о себе знать, совершенно неожиданно выпрыгивая на твоём пути, словно чёрт из табакерки, — около главного универсама столицы, знаменитого бишкекского ЦУМа, словно древние рептилии, пережившие падение Юкатанского метеорита, вполне себе успешно функционируют платные туалеты.

2

Мой отец мог бы запросто служить иллюстрацией к такому понятию как «любовь к жизни». И дело вовсе не в классическом одноимённом рассказе Джека Лондона. Ата обожал познавать всё новое, что могло появиться на его жизненном пути. Как истинный кочевник, он был лёгок на подъём и даже после семидесяти совершенно не задумывался, если появлялся шанс куда-нибудь поехать, будь то располагающийся под боком Казахстан или же другой конец света, как, например, Аляска. Нашу семью раскидало по всему белому свету: я оказался в Канаде, сестра в Италии (только недавно она перебралась в канадскую Манитобу), брат долго жил в Москве. Даже лучший друг юности отца уже в пожилом возрасте оказался в американской Флориде благодаря стечению уникальных жизненных обстоятельств. И везде отца с радостью ждали, что только подогревало и раззадоривало его тягу к новому опыту. Не знаю, откуда это у него. То ли некий глубоко сидящий генетический код, оставшийся в крови с тех легендарных времён, когда тюрки мигрировали с Алтая по всей Евразии, включая Балканы и Византию, то ли просто, оказавшись в молодости взаперти в душном Советском Союзе, когда выезд из страны для простых смертных почти полностью исключался, он теперь использовал любую возможность компенсировать потерянные в этом смысле годы. И везде, где бы он ни оказался, ата с жадностью впитывал культурные, гастрономические, исторические и прочие нюансы, которых не было в родном Кыргызстане. Когда мы приехали, помнится, в крошечный курортный городок Осоюз в Британской Колумбии, первое, что ата захотел узнать, — где тут индейская резервация и есть ли у них музей. Невероятным образом у местных индейцев действительно оказался музей, и ата сходил туда, с интересом изучил экспозиции томагавков и луков, а вечером что-то сосредоточенно записал в блокнот. Не зная английского, он тем не менее требовал, чтобы его брали в книжные супермаркеты, где однажды долго и дотошно рассматривал огромные фолианты по истории Древнего Египта. Глядя на него в такие моменты, я не мог отделаться от мысли, что отец чувствует себя первопроходцем, попавшим на интересную, неизведанную территорию, полную тайн и загадок. Как Эрнандо Кортес в Мезоамерике, но только без воинственности. Или Джеймс Кук на Гавайях, но без коммерческих интересов. Его завораживали тотемные столбы индейцев Аляски, а однажды я взял его на прогулку по периметру знаменитого Стэнли Парка в Ванкувере, самого большого в Северной Америке, и отец, несмотря на возраст, бодро прошёл целых семь миль, приговаривая, что если уж начал дорогу, то надо её завершить.

Ганна Шевченко:

«Поэтический дар — мутация души»

Разговор ведёт Юрий Татаренко

Ю.Т.: Как эволюционируют поэты? Сначала молодой яркий автор набивает шишки — а дальше?

Г.Ш.: Я приехала в Москву в двадцать девять лет. За плечами провинциальная литературная студия, где мои стихи в основном хвалили. И вот я начинаю осваивать московское литературное пространство и размещать стихи в интернете. Боже, какую боль мне доставляли критические комментарии, оставленные коллегами, я аж краснела от гнева, когда их читала. Был такой сайт «Поэзия.ру». Там сидело какое-то рекордное количество злых дядек, которые с утра до вечера только тем и занимались, что бродили со страницы на страницу и критиковали чужие стихи. Сколько они моей крови попили... А потом были семинары в Липках, в ЦДЛ, в Булгаковском доме, в Коктебеле на Волошинском фестивале — мастер-классы Бахыта Кенжеева, Алексея Цветкова, Ольги Ермолаевой, Ирины Барметовой, Андрея Василевского, Алексея Алёхина. Постепенно пришло понимание, что такое хорошо и что такое плохо для поэтического текста. И вместе с ним — равнодушие к чужому мнению, и к хуле, и к похвале. А если нужно с кем-то посоветоваться, показываю тексты экспертам из ближнего круга — любимым поэтам и любимым редакторам. А вообще, с возрастом стихов становится меньше и меньше. И дело не только в угасании творческой энергии, а ещё во внутреннем отборе — всё меньше тем и явлений трогают душу, вызывают необходимость лирического высказывания. Высшая точка эволюции поэта — это молчание.

Ю.Т.: Вы назвали больших мастеров слова. Они ведут занятия по-разному? Расскажите, чем запомнились эти разборы стихов.

Г.Ш.: Помню мастер-класс Цветкова и Ермолаевой в Коктебеле. Ольга Юрьевна взяла тогда на себя роль «злого полицейского» и очень привередливо, как и должно редактору серьезного журнала, разбирала стихи. И вот после её справедливых замечаний по моим текстам Алексей Петрович положил руку на рукопись и сказал: «Но это не бездарно». Разве такое забудешь? Хорошо запомнился мастер-класс Кенжеева в том же Коктебеле. Когда закончилось обсуждение, он подошел ко мне и сказал: «Деточка, в стихотворении “Охранник Геннадий Сушко” слово “овощи” я заменил бы на “яблоки”». Конечно, я исправила, и в “Сибирских огнях” впоследствии оно было опубликовано с правкой Бахыта — вот такая у меня осталась о нем память. И наука — от общего уходить к конкретному, лучше наводить резкость, глядя на предмет.

Ирина Барметова — редактор высочайшего уровня. Она вела семинар прозы, и помнится, один мой короткий рассказ вернула со словами: «Если всё исправишь, я готова его опубликовать». Я посмотрела в текст и ахнула, на нём не было живого места, он весь был в красных зачеркиваниях и замечаниях. Ирина Николаевна научила меня тщательно подбирать слова и отсекал лишнее. Алексея Давидовича Алёхина я считаю своим «крестным отцом» в поэзии. В марте 2012 года он в РГГУ представил новых поэтов журнала «Арион», где я выступила в числе других молодых авторов. Я тогда только начинала публиковаться, и это приглашение было для меня честью. С тех пор я печаталась в «Арионе» каждый год, и всякий раз, собирая подборку, Алексей Давидович устраивал мне маленький мастер-класс, давая дельные советы. А ещё, приезжая в Липки на Форум молодых писателей, я ходила на семинар Василевского и Алёхина, послушать, как они разбирали стихи других авторов. Очень захватывающее зрелище. И полезное.

Ю.Т.: Где и у кого учиться начинающему поэту? В литературе учителя и авторитеты — синонимы?

Г.Ш.: Научиться быть поэтом — это как научиться быть альбиносом. Поэтический дар — это мутация души. Конечно, начинающему автору нужен наставник, чтобы помочь правильно распорядиться полученным даром, найти свой оригинальный голос.

Ю.Т.: А вы на чьих стихах и книгах учились жить и писать? Кто для вас авторитеты в искусстве?

Г.Ш.: Я родилась и выросла на окраине мира в маленьком шахтерском поселке и была оторвана от большой литературы. Читала то, что находила на семейных книжных полках и в местной библиотеке. Первая любовь — это Ахматова. Её стихи хорошо запоминались и точно выражали чувства вечно влюбленной девушки, какой я была в ту пору. Вторая любовь — Гумилёв. Его сборник я случайно нашла в шахтной библиотеке и так и не вернула. Его стихи мне показались диковинными сувенирами — такие экзотические, яркие, выразительные... А потом был Бодлер и его «Цветы зла»... Пожалуй, это моя любимая троица юных поэтических лет.

А сейчас для меня значимыми являются поэты, которые возбуждают творческое либидо. Прочитал одно-два стихотворения — и чувствуешь, как внутри зашумела стихия. Носители вечного огня. Прометеи, дарующие тепло.

Ю.Т.: Поэты обладают способностью предвидеть. Много ли напорочили себе в стихах?

Г.Ш.: «Оставляя на почве дымящийся след, снова Гекатонхейры выходят на свет и колонной идут в облаках синевы в направлении Курска, Орла и Москвы». Эти строки вертелись в голове осенью до известных событий, когда мы и подумать не могли о том, что случилось в феврале. Гекатонхейры — это воинственные великаны из древнегреческой мифологии, олицетворяющие хаос и разрушение. Стихотворение так и не сложилось, но я не раз вспоминала это четверостишие, читая новости о событиях в Курской области.

Ю.Т.: Есть устойчивая точка зрения: поэзия — только то, что в рифму. Согласны?

Г.Ш.: Американский мифолог Джозеф Кэмпбелл писал, что миф — это чудесный канал, по которому энергия космоса оплодотворяет человеческую культуру. Уверена,

поэзия спускается на Землю по этому же каналу, и какое имеет значение, в зарифмованном виде она является или нет.

Ю.Т.: То есть вы не противница верлибра. А кто из мастеров свободного стиха вам наиболее интересен?

Г.Ш.: Верлибры писали многие классики, от Сумарокова до Ахматовой. Интересны все, кто делал и делает это талантливо.

Ю.Т.: Опасны ли графоманы? Почему они не прогрессируют?

Г.Ш.: Они, в первую очередь, вредны. Люди, лишённые таланта, публикуются в литературных журналах, издают книги, ездят по фестивалям. Всё это приводит к катастрофической девальвации поэзии. Читателю сложно в этом обилии безвкусовых текстов найти что-то по-настоящему стоящее. Вот и обращаются люди всё больше к проверенной классике, разочаровавшись в современной поэзии.

Ю.Т.: Лучшее начало встречи с читателями — это...? Важно ли вам поскорее установить контакт с публикой?

Г.Ш.: Лучшее начало встречи с читателями — это присутствие этого самого читателя. Думаю, многие попадали в ситуации, когда мероприятие активно рекламировалось, афиши размещались на сетевых ресурсах и в блогах выступающих авторов, а в зале — несколько слушателей.

Ю.Т.: Яркий финал — это критерий хорошего стихотворения или нет?

Г.Ш.: Многие считают, что критерий, но есть и противники этого приема. Помню, как-то Андрей Чемоданов писал в своём блоге, что яркий финал — это легкий и проверенный путь, и он предпочитает расставлять акценты иначе — сделать яркое вступление, а к финалу снизить градус повествования. В данном случае я — консерватор. Если стихотворение не просто лирическая зарисовка, а нарративное высказывание, для него трехактная структура является идеальной — завязка, развязка, кульминация. Можно сколько угодно изобретать треугольные и квадратные колёса, но круглое катится лучше.

Ю.Т.: Что выбираете: прогулку с Гёте или Столыпиным?

Г.Ш.: Шопенгауэр после первой встречи с Гёте писал, что великий поэт всё время говорил о своей теории цвета. Думаю, мне сложно было бы поддержать этот разговор. К тому же Гёте оставил большое литературное наследие, и я могу общаться с ним каждый день, открывая книги. А вот Столыпин, хоть сам и не писал, был ценителем изящной словесности и поддерживал литераторов, писавших стихи о родном крае. Думаю, нам было бы о чём поболтать.

Ю.Т.: Налицо интересное поколение тридцати-сорокалетних поэтов. Воспринимаете их как коллег или как конкурентов в борьбе за читательское внимание и литературные премии? Чьи стихи вам ближе — Майки Лунёвской или Марии Затонской? А может быть, 26-летней Варвары Заборцевой? Читаете ли тексты из длинных списков премии «Лицей»?

Г.Ш.: Специально премиальные листы не просматриваю. Читаю то, что от случая к случаю попадает в сети. Имен называть не буду, чтобы никого не обидеть.

А насчет конкуренции даже не знаю, что ответить... С кем и за какой приз бороться? Серьезные премии закрылись. Издать книгу за деньги сейчас может даже попугай Кеша, едва научившийся говорить. А в литературных журналах царит полная демократия — в уважаемых изданиях наряду с отличниками публикуются и слабые троечники. За читателя тоже бороться бессмысленно — дамы, читающие Солу Монову, вряд ли станут читать Ольгу Седакову и наоборот. Так что места под литературным солнцем сегодня хватает всем.

Ю.Т.: Что делает современную поэзию современной?

Г.Ш.: Отражение в стихах процессов, ранее невиданных, будь то технический прогресс, социальные явления, философские установки.

Ю.Т.: Слышали песни на свои стихи? Как реагируете?

Г.Ш.: Благодарю автора за музыку. Поэты вниманием не избалованы, и, если твой текст так запал в душу музыканта, что он решил его спеть, это вызывает радость и приязнь.

Ю.Т.: В этом году вы выложили на своей страничке «ВКонтакте» почти полсотни новых стихов. Что помогает быть в тонусе?

Г.Ш.: Сейчас пишу мало, как никогда. А «ВКонтакте» наряду с новыми иногда выкладываю старые, забытые тексты, чтобы поддерживать жизнедеятельность страницы или просто поделиться настроением через стихи.

Ю.Т.: Вас редко встретишь на литфестивалях. Кому нужнее фесты — писателям или читателям? Почему вас нет в телевизоре?

Г.Ш.: О больших, масштабных фестивалях, вызывающих интерес и резонанс общественности, давно не слышала. А съезд поэтов за свой счет под видом литературного события, чтобы почитать друг другу стихи в полупустых залах и попить вина — дело, конечно, хорошее, но бессмысленное. Почему меня нет на телевидении — не знаю. Спрошу у Эрнста или Добродеева, если представится такая возможность.

Ю.Т.: Почему в отечественной прозе есть понятие бестселлер, а в поэзии — нет?

Г.Ш.: Поэзия — искусство элитарное. Не так много людей читают стихи, ещё меньше — понимают. Поэтому поэзия и бестселлер — понятия взаимоисключающие.

Ю.Т.: Недавно увидел интересную афишу: Василий Нацентов и Вадим Муратханов. А вам с кем вместе было бы интересно выступить?

Г.Ш.: С Дмитрием Воденниковым, например.

Ю.Т.: В Сети есть необычная дефиниция поэта Ганны Шевченко: звезда Московского слэма. Вас привлекает соревновательность? Ваше мнение о формате поэтического турнира? Какой способ самопрезентации для вас приемлем?

Г.Ш.: Не столько соревновательность, сколько новый опыт. Пару лет назад я написала заявку на участие в Московском поэтическом слэме, попала в финал в финальном туре заняла четвёртое место, а после — место на алле славы Московского

слэма. Мне хотелось себя испытать. Читать переполненному театральному залу — это не трём дремлющим бабушкам в библиотеке, к тому же отдельный балл зрительское жюри ставит именно за исполнение текста. Поучаствовала, поняла, что добиться настоящего успеха в слэме можно при условии большой работы и постоянного развития в этом направлении. Просто прийти и почитать с листа, как мы часто делаем на литвечерах, — безусловный провал. А формат мне нравится, турниры собирают большое количество зрителей и дают возможность расширить свою читательскую аудиторию. Если говорить о самопрезентации, то я не приемлю кривляний, я старалась, чтобы мой персонаж был максимально похож на поэтессу Ганну Шевченко.

Ю.Т.: «Мы научились в космос выходить,/ Но разучились сказки понимать». За какие сказки вам обидно? Ваше мнение о научно-техническом прогрессе — с точки зрения гонки вооружений и писательской лаборатории?

Г.Ш.: Помните, как у Гумилёва: «Солнце останавливали словом,/ Словом разрушали города»? Ученые много открытий сделали в области физики и мало в области метафизики. Вот за это и обидно.

Ю.Т.: Максим Амелин недавно в интервью заявил: главное для современного поэта — не написать лишнего. Как прокомментируете?

Г.Ш.: Мне кажется, я ответила на этот вопрос в самом начале интервью. Идеально — вообще замолчать.

Ю.Т.: И всё же: как вы редактируете свои тексты? Сокращаете строфы безболезненно?

Г.Ш.: По методу женщины-хирурга из фильма «Покровские ворота»: «Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!» Вот примерно так я отношусь к саморедактированию. Сокращаю безболезненно не только строки, но и строфы, если это делает стих более цельным.

Ю.Т.: Алексей Сальников убежден: в хорошем стихотворении обязательно должны быть снег, ребёнок и трамвай. А вы как полагаете?

Г.Ш.: Здесь, я думаю, у каждого будет персональный набор, у меня, как вариант — берёза, женщина и автобус.

Ю.Т.: Что общего у поэта Ганны Шевченко и поэтессы Ганны Шевченко?

Г.Ш.: Игра в правильные и неправильные феминитивы мне наскучила лет пятнадцать назад. Давайте не будем тратить время на подобную чепуху.

Ю.Т.: Насколько легко переключаетесь с поэзии на прозу? Какова ваша специализация? Пишете ли тексты для детей? Переводите ли стихи с других языков?

Г.Ш.: Иногда переключаюсь быстро, иногда медленно. Помню, был длинный прозаический период, когда я писала повесть «Шахтёрская Глубокая»¹, и вообще не писала стихов. Переводами не занимаюсь. А вот детскую сказку недавно написала по просьбе одного иностранного издателя.

¹ Повесть «Шахтёрская Глубокая» была опубликована в журнале «Дружба народов» (2016, № 2).

Ю.Т.: И что было дальше? Она опубликована? В какой стране? О чём сказка?

Г.Ш.: Недавно книга появилась на «Амазоне». Она о мальчике и девочке, которые отправились в некую чудесную страну искать потерявшегося брата. Что со сказкой будет дальше, одному Богу известно.

Ю.Т.: Трудно писать для детей? Не планируете повторить этот опыт?

Г.Ш.: Писать для детей не трудно. Трудно находить оригинальные идеи. Опыт с удовольствием повторила бы, если бы ко мне постучался интересный персонаж, как Чебурашка к Эдуарду Успенскому или Муми-тролли к Туве Янссон.

Ю.Т.: Вопрос человеку с воображением и поэтическим мышлением. Скажем, если в декабрьский полдень разбинтовать облачное небо над Москвой — что можно увидеть?

Г.Ш.: Оленя, запряженного в красные сани, на санях Дед Мороз и гора разноцветных коробок, перевязанных серебристыми лентами.

Ю.Т.: На что вам не жаль тратить деньги?

Г.Ш.: На детей, на подарки, на книги, на обучение, на новый опыт.

Ю.Т.: А можно поподробнее? Какие книги купили за последнее время и не пожалели об этом? Какие компетенции получаете платно?

Г.Ш.: Из книжных покупок последняя — «Не самое главное» Паоло Соррентино. Недавно пересмотрела все его знаковые фильмы и очень загорелась, узнав, что он пишет прозу. Не удержалась, заказала на Wildberries и не пожалела. Это оказалась даже не проза, а скорее развернутая библия персонажей. Соррентино, как Карабас-Барабас, сложил в одном месте всех своих кукол, чтобы достать из коробки, когда того потребует очередной сюжет.

А насчет компетенций, вы сейчас удивитесь, покупала лекции по истории Таро. Случайно попала в руки колода, и я, больше из баловства, стала делать расклады. Но вскоре поняла, что карты Таро — волшебный инструмент, который с помощью языка архетипических символов передает из какого-то неведомого поля запрашиваемую информацию. Какие энергии задействованы в этом процессе, я не знаю, возможно, квантовая физика когда-нибудь это объяснит. Но то, что система работает, у меня сомнений нет. Кстати, отцы-основатели самых знаковых колод — Артур Уэйт и Алистер Кроули — писали стихи и прозу. Думаю, это неслучайно. Возможно, и здесь как-то задействован тот самый космический канал, о котором писал Кэмпбелл.

Ю.Т.: С трудом удалось найти в Сети дату вашего рождения — 05.07.1975. А ведь в ней интересная комбинация цифр. Получается, вы суеверны?

Г.Ш.: Нет, это случайность, никогда не скрывала эту информацию.

Ю.Т.: Если бы сейчас вы встретили себя двадцатилетнюю, что сказали бы?

Г.Ш.: Дала бы несколько советов личного характера.

Ю.Т.: Зачем существует несправедливость? Приведёте примеры из своей жизни?

Г.Ш.: Я много раз получала от жизни больше, чем заслуживаю. Вот такая вот несправедливость.

Олег Сидоров

Путь Андрея Борисова:

от «Желанного берега...» к настоящему и будущему

Штрихи к портрету преобразователя культурного пространства

«“Я знаю, что я знал...” — в этой многозначной фразе заключена парадигма познания, основанного на интуиции, на активизации генетической памяти... В ней призыв к жизни раскрепощённой, богатой, как сама природа, и прекрасной, как её величество Игра.

Я знаю, что я знал... В этой мысли, в отличие от сократовской “я знаю только то, что я ничего не знаю”, нет пессимизма и погони за суммой знаний, которая всё глубже убеждает тебя в том, что чем больше ты знаешь, тем очевиднее твоё незнание... Я знал... Поэтому я спрашиваю у себя. Я читаю Сократа, чтобы вспомнить, что я знал... И тогда отзывается во мне вселенский голос, и пробуждается генная память. И тогда я могу явить миру свою, необщую, идею и прозвучать своей нотой в земном бытии».

Андрей Борисов

(«Я знаю, что я знал...» — Якутск: Бичик, 2011)

Год назад СМИ Якутии разнесли весть: премьер-министр Индии Нарендра Моди в радиопрограмме «Говорю от чистого сердца» рассказал слушателям о том, что его удивило и восхитило: «Представьте себе зимний день, температура минус 65 градусов, белый снежный покров. И там, в театре, зрители заворуженно смотрят “Абхиджняна-Шакунтала” Калидасы. Можете ли вы представить себе тепло индийской литературы в самом холодном городе мира — Якутске? Это не воображение, это реальность. Истина, которая наполняет нас всех гордостью и радостью». Так лидер великой державы отреагировал на спектакль режиссёра Степаниды Борисовой «Сахаантала» на сцене Театра Олонхо под руководством Андрея Борисова. Спектакль по мотивам драмы, созданной в IV или V веке по одному из сюжетов индийского эпоса «Махабхарата»¹.

Сидоров Олег Гаврильевич (Амгин) — российский якутский журналист, писатель, публицист, исследователь. Родился в 1962 году в селе Амга, Республика Саха (Якутия). Автор многих книг, в том числе «Россия-Якутия: Вчерашнее завтра» (1999), «Платон Ойунский» («ЖЗЛ», 2016), «Максим Амосов» («ЖЗЛ», 2017), «Платон Ойунский. Пылающий камень Сата» (2017).

¹ О спектакле театра Олонхо рассказал премьер-министр Индии // Официальный сайт Театра Олонхо URL: <https://olonkhotheater.ru/2024/10/28/o-spektaкле-театра-олонхо-рассказал-п/>

Андрей Саввич Борисов — якутский театральный режиссёр, общественный деятель, наделённый не только творческими талантами, но и огромной созидательной энергией. Народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации, художественный руководитель Саха академического театра им. П.А.Ойунского, Государственный советник Республики Саха (Якутия), министр культуры и духовного развития Республики Саха (1990—2014), президент Академии духовности Республики Саха, основатель Театра Олонхо. Но главная его миссия в этом мире, как называет его народ саха — в мире Серединном, — искать то, что может объединять народы России и стран Азии на основе искусства и культуры. Вся его деятельность показывает, что в современном мире — глобальном, технологичном, цифровом и медийном — культура есть тот мост, который способствует уважению к традициям народов, их взаимопониманию, диалогу и консолидации.

Андрей Борисов начал свой путь с успешного окончания в 1974 году Щепкинского училища. Следом были учёба в ГИТИСе по специальности «режиссёр» в мастерской Андрея Гончарова и первая ступень к признанию — выпускной спектакль «Желанный голубой берег мой...» в 1982 году. Уже в этом спектакле по повести «Пегий пёс, бегущий краем моря» Чингиза Айтматова было заложено ощущение грядущих перемен и идея духовного единства с огромным культурным пространством Евразии.

Молодой якутский режиссёр Андрей Борисов и русский художник и сценограф Геннадий Сотников поставили спектакль, повлиявший на культуру и искусство Якутии. Первую высокую оценку «Желанный голубой берег мой...» получит в Тбилиси. Знаменитая Верико Анджaparидзе признается в любви к Якутскому театру и назовёт спектакль реформаторским. Отметим спектакль и в Мексике на фестивале «Сервантино».

Спектакль «Желанный голубой берег мой...» — эпическое сказание о мироздании, о жертвенности ради продолжения жизни — был понятен всем. Якутский зритель словно ждал эту постановку, приняв безоговорочно, от неё начался отсчёт преобразования культуры народа саха. Тогда же у Андрея Борисова зародилась идея создания театра якутского эпоса Олонхо.

Вторая половина 80-х и 90-е годы — время перемен и в стране, и в республике. В Якутии под руководством её первого президента Михаила Николаева был дан толчок процессу преобразования культуры и искусства, который продолжается до сих пор. Андрей Борисов в сентябре 1990 года был утверждён министром культуры республики. Свою работу в качестве министра он начинал с реализации программы «Хомус — Ысыах — Олонхо — Итэгэл». Согласно этой программе 1991 год был провозглашён — Годом хомуса (традиционной музыки), 1992-й — Годом ысыаха (традиционных празднеств), 1993-й — Годом Олонхо (национального эпоса), 1994-й — Годом Итэгэл (якутских верований как проявления духовности). Так было определено и обозначено ядро культуры народа саха. Опираясь на национальное, привлекая международное культурное сообщество, искать новые возможности для развития.

Мир по-новому открыл Якутию. Якутия открывала Запад и Восток и осознала собственную идентичность, корнями уходящую в историю древней Азии.

Размышляя об этом периоде якутской культуры, Андрей Борисов писал: «Русский поэт и религиозный мыслитель Вячеслав Иванов говорил, что культура развивается на путях таинственной целесообразности. Так вот, целесообразно было якутской культуре в последние десятилетия сформироваться в основных своих постулатах, в главных ипостасях. Наши проекты, задуманные сознательно или интуитивно, реализовались. Это было время культуры в становлении государственности

и высшего художественного образования, включения в контекст мировой культуры, создания инфраструктуры для развития профессионального искусства, время рождения науки и философии культуры народов республики. А в основе всего этого становления — возрождение традиционной культуры как живительного источника¹.

И по прошествии многих лет мы наблюдаем, как шаг за шагом Андрей Борисов реализует в своём творчестве грандиозный проект «Единое пространство культуры Евразии». Реальный осязаемый проект. Его Евразия — это фестивали «Желанный берег...», «Ёрдынские игры», художественный фильм «Тайна Чингис Хаана»... Режиссёр ставит спектакли на Алтае и в Китае, в Башкортостане и Турции, в Якутске и Москве... Он не только активно развивает межкультурные проекты, но и вдохновляет новое поколение творческих людей на поиски общих ценностей, подчёркивая значимость интеграции народных традиций в современные тренды.

Евразия — единый огромный мир. Не просто географическое понятие, но особая субстанция, живущая по своим законам, таинственные места, сконцентрированная энергетика. Тибет. Кайлас. Великая Степь. Озеро Байкал. Ленские столбы. Горный хребет Кисилых в северной Якутии... Мы живём в эпоху ренессанса идей евразийства. Идеолог и автор большинства программных документов движения Пётр Савицкий утверждал: «Культура России не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских... Она — совершенно особая, специфическая культура... Её надо противопоставлять культурам Европы и Азии как срединную, евразийскую культуру... Мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя русскими»². Россия — мост, соединяющий Европу и Азию. Это место взаимообогащения национальных культур. В новом времени — XXI веке, с его техническим потенциалом и глобализационными вызовами — появилась новая возможность осознания внутреннего единства и движения к нему.

Якутия, Саха — одна из важнейших частей этого огромного пространства. Наше мироощущение всегда было пронизано чувством причастности к миру Евразии. Наши гении начала XX века — Василий Никифоров-Кюлюмнюр, Алексей Кулаковский-Ексекулях Елексей, Гаврил Ксенофонтов, Платон Ойунский... Мы, народ саха, принадлежим и Северу, и Востоку. Два крыла для полёта. Православие народного писателя Суоруна Омоллоона. Преданность миру древних монголов и истории Китая нашего современника Народного писателя Якутии Николая Лугинова.

Время выбирает личностей, людей, которые чувствуют его пульс. Андрей Борисов создаёт единое пространство культуры, реализует его, делая для нас евразийский мир более явственным, артикулируя его художественными образами и словом, преобразованным на театральной сцене в визуальную культуру.

Творчество режиссёра неразрывно связано с сакральными местами Якутии. А в основе его сакрального пространства — слово писателя, литература: от произведений классиков якутской литературы до современников Николая Лугинова и Василия Харысхала. Герои его спектаклей — исторические личности, оживлённые драматургией якутских писателей: Кюлюмнюр, Манньяттаах уола, братья Ксенофонтовы, государственный деятель Илья Винокуров, народный учитель Михаил Алексеев, мифологические герои Олонхо и первопредок Эллай...

¹ Андрей Борисов. «Взлететь, вобрав в себя Запад и Восток». — Илин, 2009, № 2—3.

² Пётр Савицкий. Континент Евразия. — М., 1997. С. 40.

СИМВОЛЫ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА АНДРЕЯ БОРИСОВА



Андрей Борисов — якутский театральный режиссёр, Народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации, художественный руководитель Саха академического театра им. П.А.Ойунского, Государственный советник Республики Саха (Якутия), президент Академии духовности Республики Саха, основатель Театра Олонхо

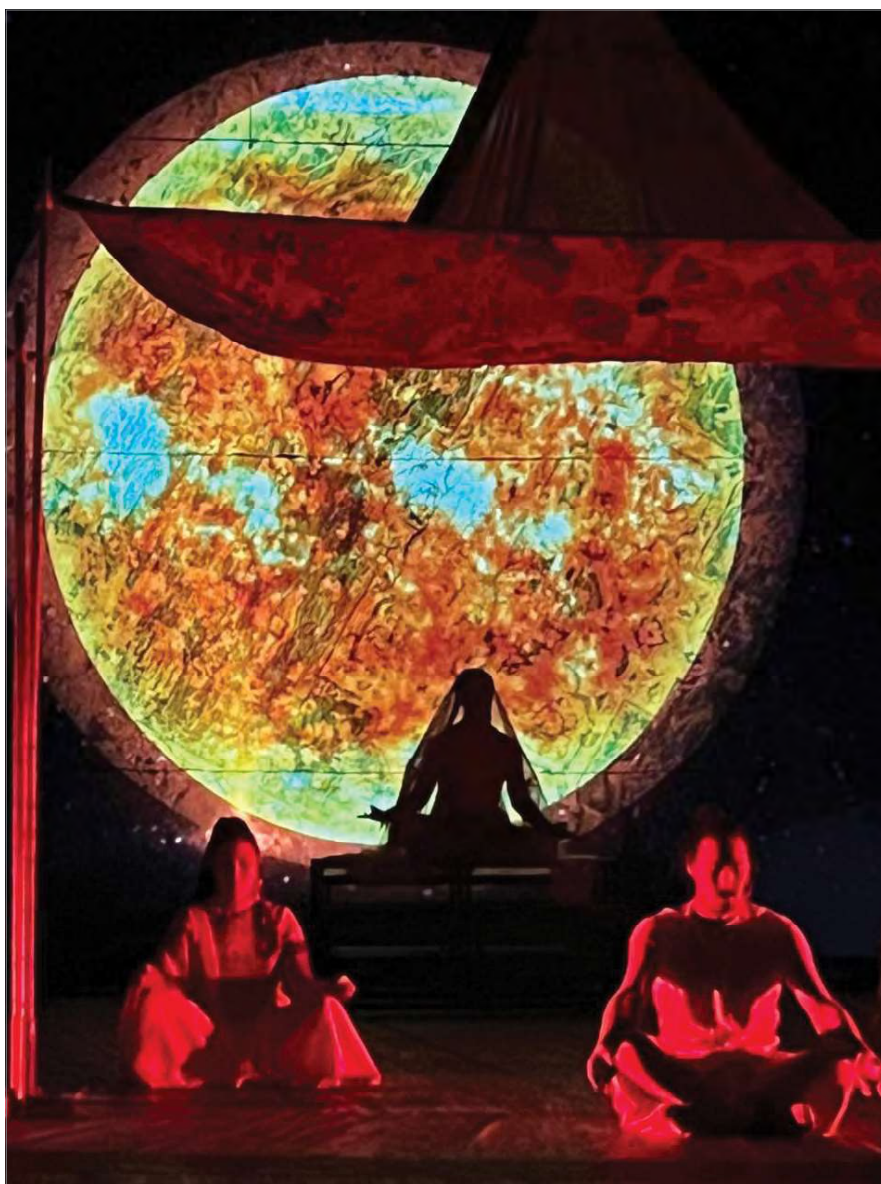


Андрей Борисов на репетиции

Сцены из спектакля Театра Олонхо.

«Сахаантала» — спектакль-олонхо, поставленный по мотивам пьесы древнеиндийского поэта Калидасы «Шакунтала»





Сцены из спектаклей, поставленных Андреем Борисовым

Сцена из спектакля «Илиир хоруол»



Сцена из спектакля «Көмүөл»



*«Прощание с Матёрой» («Матёра, бырастыы...») в постановке Саха академического театра им. П.А.Ойунского в Якутске по повести Валентина Распутина.
В роли Дарьи – Степанила Борисова*



*С художником Геннадием Сотниковым (1938–2007)
на съёмках фильма «Тайна Чингис Хаана»*



Сцена из фильма «Тайна Чингис Хаана»



Супруги Борисовы. Степанила и Андрей



Андрей Борисов у памятника Платону Ойунскому перед Саха театром

Вера Харченко

Выбор имени

Заметки о юбилеях и современном творческом процессе

В религиозной традиции юбилеем считается срок в 50 и в 100 лет, а промежуточные даты относятся к круглым датам. И в 2025 году мы отмечали 100-летний юбилей первого патриарха Руси — Тихона. Был снят фильм о нём, организован концерт в честь патриарха, и, конечно, во всех храмах проходила служба с поминанием этого великого человека. Всё это знаменательно, поскольку те притеснения, которым подвергался Тихон, то гонение на церковь настоятельно требовали покаяния, хотя лиц, причастных к этому, уже не отыскать.

У религиозных деятелей можно учиться, они не отделены от нас. Сошлюсь на собственный опыт. Внимание к митрополиту Макарию (Булгакову) подвигло прочитать все семь томов «Истории православной церкви» и как результат — испытать восхищение богатством словаря, пластикой стиля, лёгкостью чтения и мощным воздействием текста. А гармония стиля без гиперкритики и гипокритики, то есть без неуёмного восхваления, когда труды служителей церкви не подвержены анализу, цитируются с придыханием, подчёркнуто благоговейно, и столь же неуёмного порицания, что иногда наблюдается в религиозной литературе? А воззвание к благородству собеседника, даже если с ним ты не согласен?.. Обо всем этом в итоге была написана монография¹. А начиналась работа с юбилея митрополита.

Но сейчас речь о тех, в честь кого отмечают не только их пятидесятилетие и столетие. В 2025 году юбилеями стали Софья Ковалевская, Илья Мечников, Пётр Семёнов-Тян-Шанский, Александр Грибоедов, Евгений Баратынский, Афанасий Фет, Антон Чехов, Иван Бунин, Александр Блок, Сергей Есенин. Годом раньше отмечались юбилеи Дмитрия Менделеева, Ивана Павлова, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Владимира Набокова, Анны Ахматовой. Разумеется, юбилеев на порядок больше. Главное — нам есть из кого выбирать, есть кого исследовать с учётом новых знаний и изменившегося понимания. Выбор — наша привилегия, живительная возможность.

Харченко Вера Константиновна — советский и российский лингвист-русист. Родилась в 1949 году в Калинин (Тверь). Окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена, доктор филологических наук, профессор. Автор нескольких монографий, более семисот научных работ и пяти поэтических сборников. Живёт в Белгороде.

¹ *Харченко В.К.* Митрополит Макарий (Булгаков): пластика языка и стиля. Белгород: Белгородская областная типография, 2017, 224 с.

Итак, первое, что надо отметить, — это счастье выбора имени. Мы живём в великой стране, и великих людей в ней много. И языковая картина будет ли полной без учёта серии известных имён?

Второй вопрос: зачем исследовать?

Здесь напрямую начинается наше творчество. Мы можем восстановить справедливость, если великого человека при жизни мало ценили или даже преследовали. Мы можем по-иному расставить акценты, поднять на высоту его деятельность, представить его как пример для подражания. Например, Баратынский подвергался острой критике Белинского, тогда как Пушкин ценил и печатал стихи поэта в журнале «Современник». Циолковского, утверждавшего, что «Земля — колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели», жители Калуги считали сумасшедшим, а ему принадлежит до сих пор действующая теория космических полётов. Его максима «этика космоса — это отсутствие страдания» звучит в XXI веке, когда действуют силы, определяющие захват звёздных, галактических пространств, весьма злободневно. Ещё пример: Ломоносова по праву считали и считают выдающимся поэтом, признанным учёным, но многим ли известно о трактате Ломоносова «О сохранении и размножении российского народа», написанном в надежде быть услышанным Екатериной II, — где говорилось о борьбе с пьянством, о неразрешении принимать монашество до пятидесяти лет, о людях, навсегда уезжающих за границу?...¹

Актуально ли это сегодня? Безусловно, актуально.

Приведенный выше список юбиляров 2025 года можно дополнить именами знаменитых прозаиков и поэтов второй половины XX века Константина Ваншенкина и Михаила Матусовского, Константина Симонова и Михаила Шолохова, Евгения Винокурова и Юрия Трифонова, Михаила Исаковского и Александра Твардовского. Но и это ещё не всё. Можно найти человека, о котором есть что сказать нового, поведать о том, что прочитали, рассказать что-то особенное, то, что уходит из внимания «официальных» исследователей.

Здесь наши усилия распадаются на две волны.

Первая — это новые сведения о «старом» юбиляре.

Например, Лев Толстой. Казалось бы, на гребне популярности сейчас Чехов, в театрах, обращаясь к классике, ставят преимущественно его пьесы, но ученый лингвист Елена Владимировна Белоглазова, выступая на онлайн конференции в Горловке 17 декабря 2021 года с докладом «Литературные онимы-русизмы за границами русского языка и литературы», приводила данные о том, что в последние годы престижное первое место по цитированию и количеству интерпретаций занимают произведения Льва Толстого. Он опережает Достоевского, Чехова и многих других писателей: 1785 раз цитируется «Анна Каренина», тогда как следующий за ним писатель упоминается... всего 14 раз. Как сказал один из современников, в России в конце XIX века самыми популярными были имена Александра III, Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского (ТВ, 6 канал, «Проповедники», 16 апреля 2025 г.). Такова роль Льва Толстого, и не должно об этом забывать. Что отличает Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского? Неукоснительное следование искренности. Этот концепт становится ведущим в творчестве обоих деятелей. Что касается Чехова, меня когда-то покорили записи писателя в специальной садовой тетради о том, как он сажал сад возле дома в Ялте, как выписывал семена, саженцы, как рассчитывал посадку деревьев, короче, вел себя как ученый. И, гуляя по саду, гордишься усилиями этого человека — не только писателя.

¹ Сьянова Е. Памятка властителям России // «Знание — сила», 2007, № 4, с. 70—74.

Или обратимся к Пушкину. В феврале 2025 года в цикле передач «Кто мы?» на телеканале «Культура» Феликс Разумовский рассказывал, что Пушкин не был революционером (мне вспоминаются школьные годы!). В 1826 году, живя в Михайловском, находясь в ссылке, по поручению царя Николая I он написал Записку «О народности и воспитании». В ней пересмотревший к этому времени своё отношение к идеям декабристов поэт призывал изменить систему образования, потому что молодым людям свойственно «полупросвещение», они не владеют историей своей страны, они оглядываются на Запад... Когда слушаешь и читаешь об этом, кажется, что написано о сегодняшнем дне. Но Николай I не внял Пушкину, проставил, по словам Феликса Разумовского, на Записке сорок вопросительных знаков и предпочел последовать другой теории — теории Сергея Уварова. Россия отвернулась от консерватизма.

Еще один пример — юбилей Иосифа Бродского в 2025 году. Что нового мы можем сказать о поэте? Для меня самое, пожалуй, главное — это то, что Бродский был теоретик поэзии. Но, вместо того чтобы вчитаться в его рассуждения о поэтах и поэзии, мы по привычке считаем, что если ты поэт, то и будь поэтом, и только. У нас нет, что печально, традиции признания поэтов как людей Ренессанса, хотя такими были и Ломоносов, и Пушкин, и Бродский, это свойственно нашей культуре.

Другая линия празднования юбилеев — это открытие не самого известного или некогда популярного, но полузабытого «нового» имени.

Мне уже доводилось писать о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве¹. 10 сентября 2022 года исполнилось 150 лет со дня его рождения. Сфера его интересов была разнообразна и обширна: он занимался географией и этнографией, картографией, статистикой, археологией, геологией, гидрологией и метеорологией, музейным делом и даже орнитологией и лингвистикой. Более того, как ученый В.К.Арсеньев внимательно изучал, например, качество леса, проводя измерения стволов деревьев: «Я измерил несколько елей. Из 40 измерений в 4 местах (по 10 измерений в каждом) я получил следующие цифры: 44, 80, 103 и 140 см. Цифры эти указывают на лучшие качества леса по мере удаления от Сихотэ-Алиня». Андезиты, гнейсы, фильзитовые порфириды, вулканические туфы? Большинству из нас непонятны эти названия, но согласимся, что само знание окружающих веществ и вещей вызывает неподдельное восхищение. Ученый, путешественник — да, но ведь еще и писатель! Как он описывает красных волков, или китайцев, не берущих деньги за услугу, или Дерсу, слушавшего «Сказку о рыбаке и рыбке» и сочувствовавшего старику, или... Человек-легенда, при всей его скромности — человек Ренессанса, открывший нам завораживающий Дальний Восток.

Вспомним про ещё одного недавнего юбиляра — путешественника, исследователя, писателя Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Хорошо известно, что это был великий человек, учёный, исследователь, но оказывается, что он любил живопись и собрал коллекцию прекрасных полотен, которая была подарена Эрмитажу. Голландские мастера пейзажа, портрета, натюрморта — сотни картин, и это тоже наше достояние.

Не могу не упомянуть «полукруглую» дату: 15 апреля 2025 года исполнилось 135 лет со дня рождения советского военачальника, маршала Иосифа Родионовича Апанасенко (1890—1943). В Белгороде, где он погиб, на привокзальной площади ему поставлен памятник. Чем же прославился этот человек? В память врезались три эпизода. Во-первых, это дороги. Когда Апанасенко послали на Дальний Восток, он возмутился, что там нет дорог, и организовал их строительство. Это был январь

¹ Харченко В.К. Кумиры: от подражания к творчеству. / Монография. — М.: ИНФРА-М., 2023. 170 с.

1941 года. Во-вторых, он начал там формировать войска, хотя это запрещалось. И когда Сталин перед контрнаступлением под Москвой потребовал дивизии, они были уже укомплектованы. А в-третьих, когда Сталин потребовал ещё и орудия, то Апанасенко швырнул стакан с чаем в сторону вождя: не дам! Чем я буду обороняться от японцев? И Сталин стерпел: успокойся! чего ты так расшумелся?

Такое «юбилейное» чтение обогащает. Открывается как раз то новое, что характерно для юбиляра, заставляет говорить о человеке, писать о нём, восстанавливать его имя, пополняя языковую картину отечества, делая её выразительной, своей.

Третий вопрос: для кого мы, отвлекаясь от своих тем и дел, сворачиваем на освещение судьбы ещё одного человека? Отвечаю: прежде всего для себя, для своего развития и своей работы.

Я уже упоминала имя великого русского и советского учёного Ивана Петровича Павлова. В минувшем году отмечали 175 лет со дня его рождения и в Подкасте 1-го канала ТВ прозвучала такая интересная деталь: отец заставлял маленького сына дважды читать книги, и это свойство учёный сохранил на всю жизнь. Мелочь? Возможно, но не она ли среди всего прочего помогла Павлову стать Павловым?.. Пушкин конспектировал книги по Камчатке, хотя эти книги были у него в доме¹.

А сколько препятствий испытывали наши герои — но это уже для поведения, для выработки незаурядного, дивного спокойствия. В «разговорной эпопее» у нас было высказывание: [доцент коллеге по телефону] «Надо учиться быть неуязвимым! Кто бы что ни сказал, а Вы этого не видите! Ну, я не знаю, муравей бы сказал: ты такая-сякая! Ну и что? Ползи дальше! (23.08.2013)»².

Так, митрополит Макарий (Булгаков) был «уличён»... в распространении фальшивых денег! «Да разве только это пришлось пережить? Чего стоили обвинения в... манкировании своими архипастырскими обязанностями в Виленский период деятельности!» Замечательный биограф митрополита Ф.И.Титов блестяще ответил на эти обвинения, составив и опубликовав, выражаясь современным языком, «хронотоп» деятельности: поездок, встреч, богослужений — митрополита Макария, перечень дел, восхищающий своей интенсивностью и насыщенностью. Предваряя свою трехтомную биографию митрополита, Ф.И.Титов с горечью пишет: «Но ныне уже пора бы, кажется, снять с главы покойного святителя венец злохуления, каким увенчала его неразумная человеческая ненависть»³.

Речь о внимательном прочтении текстов людей-юбиляров, о новых данных, которыми располагает наука, о восстановлении справедливости и о многом другом, что высвечивается, когда мы вчитываемся в эти произведения, вслушиваемся в воспоминания, рассказы. Самое главное, что эти люди, о которых мы пишем или повествуем в дни их юбилеев, становятся для нас близкими, они незаметно учат нас, а это ценно в любом возрасте, в любом положении.

¹ Ср.: «Переписывать любимые книги от руки. Лучше, чем переписыванием их не прочитаешь». (Лебедев Андрей. На гобеленах. Малая проэзия // «Новый мир», 2015, № 5. С. 7—55.). Или: «Я не представляю себе чтения без карандаша, без ручки. Иначе я страшно нервничаю. Меня одолевает потребность вмешаться в текст, вступить с ним в диалог, определённым образом присвоить его себе. Делать записи, подчёркивать — это ведь тоже в какой-то степени переписывать, обогащать текст...» (Неуман Андрес. «Борхес бывает вампирическим». С писателем беседует Элина Родригес. Пер. с исп. // «Иностранная литература», 2015, № 12. С. 249—254.)

² Харченко В.К. Антология разговорной речи: Некоторые аспекты теории. / В пяти томах. — М.: ЛЕНАНД, 2016.

³ Титов Фёдор. Материалы к жизнеописанию митрополита Макария (Булгакова). / Тт. 1—3. — М.: село Беянка, 2015. Том 3.

Лейла Шахназарова

Чёрная шелковица, белая акация...

Несколько страниц из истории ташкентской эвакуации

I

«...Осенью 1941-го, перед отъездом в эвакуацию, мы с мужем, Абрамом Эфросом, — он уезжал раньше с писательским эшелоном в Андижан, — договорились, что будем искать друг друга через Соломона Михайловича Михоэлса...»¹

Этими строчками, этими именами, сразу приковавшими к себе внимание, начинался текст, который...

Впрочем, лучше с самого начала.

Много лет назад в редакцию журнала, где я тогда работала, пришла немолодая женщина, предложила для публикации свои очерки. Это была Надежда Крикун, когда-то — жена Абрама Марковича Эфроса, известного литературоведа, искусствоведа, театроведа, переводчика, который в годы войны находился в эвакуации в Ташкенте.

Ох, мало мы тогда, в конце 1980-х, в доинтернетные советские времена, знали и об Абраме Эфросе, и о Соломоне Михоэлсе, и о многих других личностях, ставших эпохой в истории русской культуры XX века! А Надежда Саввишна Крикун писала обо всех этих людях как о своих добрых знакомых...

Осознание этого, удивление, восхищение пришли ко мне много позже. Правда, понять, что воспоминания бывшей москвички, в 1941 году эвакуированной в Ташкент и оставшейся здесь навсегда, — документ редкий, уникальный, — я всё же тогда, при первом знакомстве, сумела. А вот расспросить, разговорить, получше узнать человека, которого уже в то время можно было считать живой легендой, частью истории нашего города, — не удосужилась. Да и имена — великие имена великих людей, которые упоминались в её рассказе, далеко не все мне были тогда знакомы. Увы, невежество молодости...

Лейла Шахназарова — писатель, эссеист, публицист, родилась в Бухаре. Работала в журналах «Звезда Востока» и других республиканских изданиях. Автор сборника документальной прозы «Тогда, под чинарами Ташкента...» (2021), один из авторов сборника современной малой прозы Узбекистана «Дойра» (2022). Лауреат ряда литературных конкурсов, в т.ч. серебряный призёр в номинации «Проза» Международного конкурса «Литературная Азия», проводившегося в Казахстане среди центральноазиатских республик (2024). Живёт в Ташкенте.

Очерк мы тогда напечатали, хоть и — страшно жаль — в сокращении; потом было ещё несколько публикаций её документальной прозы... И... больше о Надежде Саввишне Крикун я ничего не слышала много лет. Пока не наткнулась недавно в своём архиве на те самые старые журналы с теми самыми публикациями...

«...К осени 1941 года мы, первокурсники ИФЛИ, уже вкусили жестокой правды войны. Обстреливаемые пулеметами с немецких истребителей, рыли противотанковые рвы за Смоленском, в верховьях Днепра. В августовские дни 1941 года впервые воочию увидели трагедию нашего отступления. Мы прочли её в глазах солдат: оборванные, окровавленные, плохо вооружённые, они шли через деревню, где мы были расквартированы...»

Перегруженные эвакопоезда — грузовые, пассажирские — направлялись в тыл страны, а со стороны Урала, Сибири шли составы с войсками и военной техникой. Медленно, отсчитывая километр за километром, эшелон, в котором находились студенты и преподаватели двух московских вузов — Университета и Института философии, литературы и истории, — двигался к Ташкенту. Путь был долг — полтора месяца. Было голодно... Начался сыпной тиф. Первых больных оставили в Кызыл-Орде, затем в Арыси. Остальных поместили в сыпнотифозные больничные бараки уже в Ташкенте...

Тебе напоминать не надо,
Как в страшный год везли сюда
Дистрофиков из Ленинграда
Ободренные поезда.

И на испуганном вокзале,
От грома чёрного вдали,
Сирот узбеки разбирали,
В халаты завернув, несли...²

«...На привокзальной площади разместилось несметное число эвакуированных. Женщины, старики, дети... Укрытые одеялами, клеёнками, с узлами нехитрого скарба, который наспех удалось прихватить зачастую уже из горящих домов. Плач детей, горестные причитания стариков, смешение языков украинского, еврейского, белорусского, польского...

Всё это звучало над площадью как стон. Как неумолчный сигнал беды. Что-то будет с ними, смогут ли найти пристанище в этом чужом городе?.. А люди всё прибывали и прибывали...

...К беженцам на площади то и дело подходят какие-то люди из местных... Я видела, как женщины — и русские, и узбечки — подходили к толпе и, выбрав себе “для уплотнения” одинокую женщину с детьми, уводили домой... Вот одна, другая, третья семья отделяются от толпы. Вещи грузят на арбу или ручную тележку и отъезжают прочь... Ташкент делал всё, чтоб укрыть, сберечь людей, искавших здесь приют, избежавших гибели на долгих и трудных дорогах...»

Воспоминания очень личные, дышащие абсолютной правдой. «Я видела...» И в то же время — объективное свидетельство одной из самых горестных и трогательных страниц истории Узбекистана, — из тех свидетельств, что относятся к драгоценному достоянию народа.

«...В Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А ещё я узнала, что такое человеческая доброта».

Эти строчки написаны другой эвакуированной — Анной Ахматовой. Но вслед за ней их могла бы повторить Надежда Крикун.

О ташкентских встречах Надежды Крикун с Анной Андреевной Ахматовой — рассказ впереди. Пока же было понятно: у меня в руках — живая ниточка к тому времени, к тем людям, что на много десятилетий сформировали духовный облик Ташкента.

II

Город, который потом назовут столицей эвакуации, Ташкентскими Афинами, встретил Надю Крикун холодной бытовой неустроенностью и... искренним человеческим теплом. Это была глубокая осень 1941 года, первая военная осень.

«Ташкент 1941-го был суров и жил, до боли стиснув зубы. Осень мела по улицам жёстко шуршащую сухую листву, серое небо в тучах было полно предчувствия долгой беды. На улицах стало больше людей в шинелях. У магазинов росли очереди. Здания школ переоборудовались под госпитали...»

И вчерашняя студентка московского Института философии, литературы и истории, как и многие её сверстницы, пришла работать в эвакуогоспиталь 3665, располагавшийся тогда в здании школы № 50.

Как на киноленте чёрно-белой,
всё так просто:
В городе Ташкенте,
возле школы девяносто —
Чёрная шелковица,
белая акация...
Э-ва-куа-ция...³

Для санитарок-новичков срочно ввели специальный медицинский курс обучения. Началась работа, весьма далёкая от избранного Надеждой искусствоведения: дежурства возле послеоперационных больных, стирка бинтов, снятие гипса у прибывающих из медсанбатов раненых бойцов...

Муж Надежды, Абрам Маркович Эфрос, как уже сказано, на первых порах был эвакуирован в Андижан. Она некоторое время, в ожидании места в университетском общежитии, жила в другом своеобразном общежитии — писательском. Это был небольшой двухэтажный дом 7 по улице Карла Маркса, где в перегороденных комнатах размещались эвакуированные семьи литераторов. Надю приютили супруги Цявловские — Мстислав Александрович и Татьяна Григорьевна, известные пушкинисты.

Обустройством эвакуированных писателей занимался замечательный узбекский поэт Хамид Алимджан. Эта административная деятельность, как вспоминает Н.С.Крикун, была для него внове, но работал он очень добросовестно, помогая всем быстро и по-деловому, стараясь накормить, напоить, обогреть всех своих необычных подопечных. Хамид Алимджан остался в памяти Надежды Саввишны красивым, очень приветливым, корректным человеком, всегда подтянутым и дружелюбным:

«...Курчавая голова, золотисто-загорелое лицо, на котором светились умные тёмно-карие глаза с каким-то непреходящим выражением печали и знания — некоего особого знания жизни ли, грядущего ли, сокровенного ли смысла бытия... Выражение его глаз помню до сих пор: в них был Восток со всей его тысячелетней пытливой духовной сутью...»

Как жена литературоведа и переводчика Надежда Крикун получала в Союзе писателей Узбекистана талоны на питание (порцию скудной военной снеди — то затируху, то пустые щи) и могла пользоваться писательской столовой. Располагалась эта столовая во внутреннем дворике здания Союза писателей на улице Первомайской и была местом каждодневных встреч, центром общения, своеобразным форумом. Дворик этот никогда не пустовал, здесь можно было увидеть весь тогдашний цвет литературы.

«Никогда, наверное, за всю историю советской литературы на столь малом пространстве не собиралось такое множество писательских талантов! Подумайте: Алексей Толстой, Айбек, Корней Чуковский, Владимир Лидин, Всеволод Иванов, Уйгун, Эди Огнецвет⁴, Янка Купала, Владимир Луговской, Василий Ян... Молодой Иззат Султанов — драматург и учёный, знаток Навои; поэт Максуд Шейхзаде — подвижный, энергичный, живо откликающийся на всё, что происходило вокруг... Почти каждый день они собирались здесь. Шла война, и кто не мог быть на фронте, всё равно считал себя призванным».

Нередко можно было видеть здесь и Анну Ахматову. Всегда державшаяся чуть замкнуто, всегда с королевской осанкой, она говорила неизменно тихо. Была сдержанна, скупа на слова, но при её появлении все как-то внутренне подтягивались, становились строже, начинали говорить чуть тише. Часто Анну Андреевну можно было видеть беседующей с Айбеком — они были дружны. Внешность молодого Айбека запоминалась всем, кто его видел, — и взглядом чёрных, яростно умных глаз, и ощущением огромной силы и энергии.

Ахматова была со всеми равна, но, вспоминает Крикун, — вероятно, не желая этого, а может быть, и не чувствуя, она несла с собой дыхание того огромного, часто трагического мира, где свершились и продолжали свершаться кровавые, страшные изломы эпохи.

III

Однако та писательская столовая не была первым местом встречи Нади Крикун с великой поэтессой. Ахматову она увидела ещё в первые недели эвакуации. Однажды Надежда стояла у окна приёмной того самого эвакуогоспиталя 3665 и вдруг заметила двух высоких женщин, медленно идущих по противоположной стороне Хорезмской улицы.

«В одной я легко узнала нашу всеобщую любимицу актрису Фаину Раневскую, вызывавшую на лица встречающих весёлую благодарную улыбку. А другая? Я стала всматриваться. Подчёркнуто прямая, с горделивой, прямо-таки королевской осанкой...

“Ахматова!” — мгновенно мелькнула мысль. Ну да, конечно, это она! Чёлка на лбу, тонкий профиль. Нос с горбинкой. Замкнутое, почти застывшее лицо, в которое её спутница поминутно пытливо вглядывалась... Да, это была Анна Андреевна Ахматова. То, что я увидела её вот такую, не на портрете Модильяни, а живую, медленно идущую по ташкентской земле, казалось чудом...»

Надя долго стояла, не в силах оторвать глаз от женщин, которых — это видно было по их жестам, общей интонации разговора и даже по походке, — связывала та особенная дружба, что говорит о снисходительной привязанности одного и восхищённой преданности другого...

Когда потом, уже в послевоенные годы, Надежде Саввишне порой доводилось видеть Раневскую и Ахматову вместе, она убеждалась, что её первое впечатление от характера взаимоотношений двух этих замечательных женщин было верным.

...Плывёт по тылу медленное лето.
Отец народов шурится с портрета.
Под ним — закрытый хлебный магазин.

Дом в зелени. Приют любви и вере.
Раневскую добытый керосин.
Ахматовой распахнутые двери⁵.

Эта встреча мгновенно перенесла девушку в детские годы, в среднюю школу города Ростова Великого, что на Ярославине. Надя с сестрой и матерью были высланы туда из Москвы после расстрела отца в 1937 году. Жили, что называется, на медные гроши, в тяжкой бедности.

«Мы были административно высланной семьёй “врага народа”, поэтому общение с нами многие считали предосудительным. Исключения были редки, и среди них — моя учительница по литературе, преподававшая ещё в старой женской гимназии, интеллигентнейший человек, нёсший в жизнь великую традицию русских народоволок. Пусть вновь прозвучит её имя: Анна Ивановна Иродова. Именно из её уст я впервые услышала — конечно же, шёпотом, так как имена эти лучше было тогда не произносить, — о Блоке, Есенине, Гумилёве... И об Ахматовой. В библиотеке Анны Ивановны я впервые увидела сборники стихов “Анно Домини”, “Чётки”, “Белая стая”. Это было моё первое робкое знакомство с высокой поэзией Ахматовой... Потом в войну, в пору жестоких боёв, мы часто с горечью повторяли её строки: “Любит, любит кровушку русская земля...”».

Вот почему, когда, приехав в Ташкент, Абрам Маркович Эфрос привёл свою молодую жену к Ахматовой, Надежда отнюдь не была ни невеждой, ни случайным в обиталище поэта человеком.

Ахматова жила в маленькой комнатке на втором этаже (дом № 7 по улице Карла Маркса) того самого «писательского общежития», где обитали Цявловские. Тот первый визит запомнился Надежде Саввишне до мелочей. Подниматься надо было по довольно крутой лестнице. А.М.Эфрос, легко постучав в дверь, проговорил: «Анна Андреевна...» Из-за двери послышался низкий грудной голос: «Абрам Маркович, вы? Входите, входите...»

«Распахнулась дверь. Анна Андреевна — высокая, прямая, в чёрном, изрядно поношенном декольтированном платье, двинулась нам навстречу. Мне она вежливо кивнула в ответ на представление, Абраму Марковичу царственно протянула красивую руку, над которой он почтительно склонился в поцелуе...»

Эфроса и Ахматову связывало давнее знакомство, ещё когда он в 1922 году организовывал для неё выступления в Москве. В 1924-м оба писали для журнала «Русский современник», а спустя несколько лет Абрам Маркович привлёк Анну Андреевну к работе над переводом писем Рубенса. Книга вышла в 1933 году в переводе А.Ахматовой и под редакцией А.Эфроса, с его вступительной статьёй.

Евгений Абдуллаев

В ожидании ИИ

Уинстон Смит наблюдает в окно за женщиной.

Женщина развешивает пеленки и поет: «Давно уж нет мечтаний, сердцу милых. Они прошли, как первый день весны...»

«Последние недели весь Лондон был помешан на этой песенке. Их в бесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела. Слова сочинялись вообще без участия человека — на аппарате под названием “версификатор”».

Этот проходной эпизод почему-то при первом чтении «1984» меня особенно ужалил. Остальное тоже впечатляло, и всё же... Дело было в конце восьмидесятых, и на фоне советского опыта все ужасы англо-американского общества особо ужасами и не казались. И двухминутки ненависти, и новояз, и двоемыслие... Всё было узнаваемо.

Но вот сочинение стихов «вообще без участия человека»... В этом было что-то действительно страшное.

Тоталитарные системы прошлого века были *бесчеловечными*, но не *бесдушными*. Да, люди пытались порой действовать как гвозди, винтики, механизмы. Но были сферы, куда эта дегуманизация не дотягивалась. Где сердце оставалось сердцем, а не «пламенным мотором». Где ни человек не подражал механизму, ни механизм человеку.

В том числе и сфера литературы.

Призрак вторжения механики в область творчества маячил, впрочем, уже давно, с позапрошлого века. С романтизма — ставшего, в свою очередь, ответом на стремительную индустриализацию и механизацию жизни. Андерсеновские механические соловьи, гофмановские музицирующие куклы, и далее, далее, к гриновскому Ксаверию. Всё это было страшновато, но... Но все эти монстры были продуктами чьего-то творчества — сами к творчеству способны не были. К созданию чего-то нового. В том числе — нового и осмысленного литературного текста.

В лучшем случае, как в рассказе Пьера Буля «Идеальный робот» (1952), «электронный писатель», созданный профессором Фонтеном, мог выдать «кошка ест мышку». Или «в один прекрасный день, ставший для профессора Фонтена днем победы», разродиться: «Быть или не быть — вот в чем вопрос!»

Невелика, скажем, победа. Сегодня, глядя на то, что создает нейросеть, профессор Фонтен кусал бы себе локти.

А вот Оруэлл со своим «версификатором» — угадал.

И не только то, что ИИ, как и версификатор, способен создавать путем комбинирования *нового* литературного текста. Но и то, в каких социальных условиях эта продукция может быть востребована.

А именно — в обществе победившей массовой культуры. В обществе, стремящемся к упрощению; обществе, в котором всё сложное вызывает раздражение и агрессию. И не обязательно — в тоталитарном, хотя именно тоталитарное общество наиболее склонно к упрощенным схемам и к уничтожению того, что слишком сложно, чтобы в них вписаться.

Оруэлловская антиутопия была написана в условиях «упрощенной» культуры 1940-х. О том же упрощении — как о духе времени — писал в те же годы другой английский прозаик, Ивлин Во. В «Возвращении в Брайдсхед» оно представлено в облике солдата Хупера, молодого человека с «прямыми, зачесанными со лба назад волосами и провинциальным выговором».

«За то недолгое время, что мы провели вместе, Хупер стал для меня воплощением Молодой Англии, так что, встречая в газетах рассуждения о том, чего ждет Молодежь от Будущего и в чем долг человечества перед Молодежью, я всегда проверял эти общие положения, подставляя на место “Молодежи” Хупера и наблюдая, не утратили ли они от этого убедительность. Так, в темные часы перед побудкой я размышлял о “Прогрессивном движении Хупера” и об “Общежитиях для Хупера”, о “Солидарности хуперов во всем мире” и о “Хупере и религии”».

Хупер, думаю, мог легко напевать и «Давно уж нет мечтаний, сердцу милых...». Почему бы нет?

Тенденции к усложнению и упрощению в культуре существуют одновременно; в одни десятилетия преобладает одна, в другие — другая.

Скажем, то упрощение, которое со сходным унынием наблюдали Оруэлл и Во (оба — носители «усложненной» культуры), началось где-то в конце 1910-х и продлилось до середины 1950-х.

Если конец XIX — начало XX века стали апогеем «цветущей сложности» («серебряный век» был тогда не только в России), то затем маятник качнулся к простоте, и далеко не цветущей¹. Да, надо учесть две мировые войны; во время войн культура (и жизнь, и мышление) вообще склонна упрощаться. Не исключено и обратное влияние: именно более примитивное мышление склонно к «упрощенному» методу решения политических проблем — каковым и является война. Перефразируя Булгакова: войны вначале возникают в головах.

Но есть и ещё один момент, на который редко обращают внимание: широкое распространение новых «упрощающих» медийных технологий (не требующих для своего пользования сложной интеллектуальной работы). В случае с циклом упрощения конца 1910-х — конца 1950-х — это триада «кинематограф — радио — телевидение».

Все они предлагали более *простой* путь потребления информации, чем чтение книг (которое предполагает кроме процесса освоения грамоты ещё и процесс «перекодировки» букв и их сочетаний в образы и идеи). Одновременно эти новые медиа давали и более широкие возможности для манипуляции массовым сознанием. Что и было использовано всевозможными тоталитарными и полу-тоталитарными режимами, а отчасти эти режимы и породило.

Попытки «усложнить» эти новые виды медиа, приблизить к высокой культуре и её сложности предпринимались почти с момента их победоносного шествия. Скажем, в кинематографе — Мурнау, Эйзенштейном, Бунюэлем... Но еще несколько десятилетий даже «высокий» кинематограф не мог отдаленно приблизиться к сложности, доступной «высокой» литературе, — не говоря об основном потоке кинопродукции. Лишь с конца 1950-х язык кинематографа достаточно усложняется, а «сложное кино» из редкого исключения становится востребованным всё более широкой зрительской аудиторией...

¹ Об этом писал Марк Липовецкий: «Серебряный век был, несомненно, моментом не только радикального обновления, но и радикального усложнения литературы — прежде всего в поэзии. В 1920-е годы этот процесс продолжился и в прозе — произведения Зощенко, Вагинова, Бабеля, Пильняка, Платонова, Кржижановского, раннего Эренбурга (“Хулио Хуренито”) тому примером. ...Зато в те же 1920-е, на параллельном ходу, происходит и радикальное упрощение поэтического языка и сознания — о чем свидетельствует высокая популярность стихов Демьяна Бедного, позднего Маяковского, Есенина, так называемых “комсомольских поэтов”» («Знамя», 2013, № 5).

Да, с конца 1950-х маятник снова начинает двигаться в сторону усложнения. Усложняются и «подражают» художественной литературе не только кинематограф, но и радио и телевидение. Происходит расцвет «сложных» радиопостановок, «проблемных» телефильмов и телеспектаклей.

Но главное — усложняется сама художественная литература, её язык. Если говорить о русской литературе, то с конца 1950-х происходит её обращение к наследию предыдущего периода сложности, к стилистическим поискам «серебряного века».

К тому же в появлении новых, более упрощенных видов потребления информации на несколько десятилетий с конца 1950-х возникает пауза. Идет экстенсивное распространение прежних («кино — радио — телевидение», плюс более редкий и дефицитный в СССР магнитофон), но новые пока не приходят.

Эта пауза давала возможность «высокой» культуре адаптироваться к этим медиа и отчасти адаптировать их к себе. Они постепенно теряют эффект новизны, уходит их первоначальное, почти взрывное, воздействие на сознание. Они становятся привычными, вписываясь в круг более традиционных форм передачи информации, — главную роль в котором продолжает играть чтение.

Поэтому так забавно звучало предсказание телеоператора Рудольфа («Москва слезам не верит»), что через двадцать лет «не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение». Звучит оно (по фильму) в конце 1950-х. В 1980-м, когда фильм вышел на экраны, было очевидно, что телевидение, каким бы огромным воздействием оно ни обладало, не заменило собой ни кино, ни театр, ни, главное, — книги. Более того, страна переживала «книжный бум», книжный шкаф был не менее важным элементом интерьера среднестатистической семьи, чем «телеящик».

Так что повторенное Рудольфом уже в конце 1970-х предсказание про «сплошное телевидение», которое вытеснит книги через двадцать лет (то есть, к концу 1990-х), в 1980-м могло вызвать лишь улыбку...

Как оказалось — преждевременную.

Нет, триумфа телевидения в конце 1990-х не случилось. Произошло нечто более серьезное. С середины 1990-х начинают появляться и распространяться новые, более эффективные и упрощенные (для пользователя) технологии производства и потребления информации. От персонального компьютера с принтером — к Интернету — далее, к смартфону — и вот, наконец, к нейросетям...

И всё это — без пауз, одно за другим, всё более и более упрощающее работу с информацией. А следовательно, и саму жизнь. И сознание человека, которое оказалось посаженным на этот общедоступный информационный «фастфуд».

И литература, в том числе и немассовая, high literature, чутко на это упрощение реагирует. Начинает упрощаться сама. По стилю, по сюжету, по всему. После изысканнейших постмодернистских игр началось движение к «новой простоте». Вначале — через «новый реализм», а потом всё шире и шире. Прежние виртуозные стилисты опрощались буквально на глазах (как в тридцатые-сороковые стилистически опрощались Катаев, Алексей Толстой, Пастернак); новые авторы, большей частью уже сразу приходили «опрощенными»¹.

Как когда-то ответил старший коллега на мой вопрос, почему он не печатает одного молодого и перспективного автора: «У него мозги как-то очень просто устроены».

Нет, с «устройством мозгов» у этого тогда ещё дебютанта, а ныне известного литератора было всё нормально. Просто он был из поколения, уже выросшего в более просто устроенном мире производства и потребления информации.

¹ Об этом опрощении мне уже приходилось писать («Знамя», 2014, № 1).

И вот теперь, наконец, ИИ — предельно упростивший не только получение информации, но и, главное, её производство. В том числе и в литературе. Уже пишет книги, озвучивает книги, рисует к ним иллюстрации¹.

Но самый важный эффект, который ИИ может оказать — и уже оказывает: эффект упрощения, примитивизации читательского сознания. А совсем не то, что ИИ может выступить творческим конкурентом писателю.

Нет, определенным писателям — наверное, и может: создателям массовой литературы. Но они, судя по всему, не сильно этим обеспокоены. Наоборот, начали активно экспериментировать с ИИ. Чтобы поставить его себе на службу — точнее, своему имени-бренду: в массовой литературе, как и в любой продукции, предназначенной для «всех и каждого», именно раскрученное имя является важным. Теперь вместо того, чтобы задействовать «литературных негров» или просиживать за компом часами самому, автору массовой литературы достаточно просто грамотно дать задание ИИ. И подредактировать сгенерированный рассказ, повесть, роман... И публиковать уже не по книге в год — в полгода, а по книге в месяц.

А литература некоммерческая, немассовая?

Автору, работающему в этом сегменте, ИИ тоже не конкурент. Немассовая литература — это литература, идущая поперек шаблона, поперек читательского ожидания. У нейросети, как недавно посетовала Ксения Буржская (попытавшаяся с ней поэкспериментировать), ничего этого нет.

«У неё нет стиля. Нет личного опыта, нет подтекста, и я не знаю, откуда он возьмется. ...У неё есть только гладкий язык и примерное представление о том, как закончить фразу. “Глаза её сияли, как...” — “Звезды”, — ответит она. И писатель эту формулировку никогда не возьмет в работу, потому что это заезженный штамп, его использовали уже тысячу раз» (сайт «Год литературы», 8 ноября 2011 г.).

Всё это так — проблема в другом.

Пока ещё есть не только писатель, но читатель, понимающий, что «глаза её сияли как звезды», — это банальность (если, конечно, это не является продуманным авторским приемом), и что в немассовой литературе так писать нельзя. Но таких читателей немного, и с каждым новым поколением, по моим наблюдениям, всё меньше. Всё больше сформированных не книжным получением информации, даже не «буквенным», а «визуальным». Упрекать их в этом нельзя — это та информационная среда, в которой они выросли. Всё более упрощенная, «удобная». В которой и глаза могут вполне сиять, как звезды, и «давно уж нет мечтаний, сердцу милых...» — считаться почти шедевром...

Или нет, не шедевр — понятие шедевра, вместе с понятием гения и с самой идеей литературной иерархии у нас ведь тоже уходит. Всё упрощается, становится равным всему. Если современная русская литература ещё как-то на что-то внутри себя делится, то только по политическим взглядам. Но и тут всякий намек на сложность встречается в штыхы. «Не всё так просто» стало почти ругательством.

Что делать?

Ждать, когда закусивший удила информационно-технический гений, наконец, выдохнется и на три-четыре десятилетия возникнет необходимая для культурной адаптации всех этих новинок пауза? Или... что? Не знаю. Будем продолжать писать; в конце концов, радость от самостоятельного и сложного письма и радость от самостоятельного и сложного чтения ещё сохраняются. А дальше видно будет.

¹ Как иллюстрирует — тема отдельного разговора. Если как «Василия Тёркина» (см. сайт «Год литературы», 15 мая 2025 г.), с чистеньким, гламурненьким и стильно причёсанным Тёркиным, то лучше, наверное, не надо. Это, простите, какое-то high-tech издательство — и над поэмой Твардовского, и над именем Кандинского («графическая поэма» сгенерирована нейросетью Kandinsky).

Борис Минаев

«А на Чистых прудах лебедь плывёт»

Театральный бульвар

«...Отвлекая вагоновожатых».

Трамвай ходит тут до сих пор, звон его смешивается каким-то неуловимым образом — с цветом неба, шорохом листьев, уже осенних, отражением заката в окнах и на высоких крышах, в общем, со всем тем, что называется городом, — и ещё с необычным звуком, который поселился этим летом на бульварах — Цветном, Чистопрудном, Покровском, на Патриарших прудах и так далее. Это звук уличного театра.

То есть театра, который вышел на улицы.

Он разный. Вот в микрофон две актрисы и актёр читают стихи Николая Гумилёва, попутно рассказывая о его жизни. Зрители внимательно слушают, пытаются вникнуть в непростую символику строф расстрелянного поэта. Вот в «театральной лаборатории» разыгрывают этюды дети. Вот со сцены солидный режиссёр и театральный художник беседуют об искусстве и театре (сейчас это называется public talk).

«Театральный бульвар» — фестиваль московского, и не только московского, театрального искусства занял три месяца лета и поразил своими масштабами. Каждый день — события, спектакли, лаборатории, перфомансы, лекции, беседы.

Причем, если говорить собственно о представлениях, а их было много, то театр, смешанный со звуками города, с тем же самым трамвайным звоном или шуршанием шин, с говором прохожих и мелодиями уличных музыкантов, то есть попросту с городским шумом, он вообще какой-то другой.

...Попробую сформулировать.

Лишенный обязательной рамки сцены, лишенный коробки зрительного зала, как бы растворенный в пространстве, не замкнутый, он и во времени ведет себя иначе. *Наше* время, повседневность и глобальная эпоха, которое вливается в тебя ежесекундно острыми иглами — куда-то отступает, затихает, открывается коридор в иное время, в ту самую перспективу вечности, которую всегда так хочется понять.

Это удивительный эффект, но, если попытаться проникнуться духом уличного театра, — он обязательно возникнет.

Особенно мне запомнились выступления коллектива «Пух и Прах», на Чистопрудном бульваре их было несколько: «Цыгане» по Пушкину, «Хорошее отношение к лошадям» по Маяковскому, «Колкий пух» — оммаж к старому спектаклю Полунина «сНЕЖНОЕ шоу».

Спектакль Полунина я видел когда-то в театре Маяковского, очень давно, лет 15 назад, причем видел с верхотуры, с галерки, сидел на уровне большой театральной люстры, внимательно её рассматривая и опасливо, как с отвесной скалы, заглядывая вниз, на сцену, — и всё равно это было здорово. Ангелы, их пуховые крылья, ощущение Рождества, мимическое извержение счастья и печали — да, подробности стерлись, но ощущение осталось.

Полунин — один из основателей уличного театра в нашей стране (хотя «сНЕЖНОЕ шоу» и показывалось в залах), и он первый открыл, что зритель, который будто загипнотизированный бредёт вслед за вереницей актёров и музыкантов, как на древней площадной ярмарке, не просто следует за ними из точки А в точку Б — он перемещается в иное измерение, он попадает в иное время.

Я сразу вспомнил об этом, когда пришел на Чистопрудный, на представление «Колкий пух». Постепенно скапливалась толпа, нарастало напряжение, пытаюсь протиснуться в первые ряды, я увидел странно одетых людей, играющих странную музыку, запомнились слова припева: «Молись и кайся, молись и кайся, молись и кайся, Малыш и Карлсон».

Вслед за прологом, немного ведьминским и пугающим, потянулась процессия «ангелов» с большими пуховыми крыльями, «почти как у Полунина», и музыкантов огромного духового оркестра.

Вообще живая, рожденная прямо тут, на бульваре, музыка — важнейшая часть представления. Она завораживает и поражает, её много, она обволакивает и высвобождает твоё подсознание, чтобы дальнейшее хорошо в нём улеглось — а «дальнейшее» происходило уже в «райском саду», где пары (множество пар), сливающихся в любовном танце, танцевали практически на яблоках, между яблок, которые в большом количестве высыпали прямо из ящиков.

Вообще попытка возродить жанр мистерии (никто никогда не видел мистерии живьем, они известны нам лишь по описаниям, от древности до наших дней) — всегда вызывала у меня уважение. Есть в этом какой-то героизм культуртрегера, героизм человека культуры, который пытается понять непознаваемое.

Особенно продвинулся на этом пути недавно безвременно ушедший Борис Юхананов, создатель совершенно особого жанра, возглавлявший «Электротheater «Станиславский» (бывший драматический театр имени Станиславского). Его мистерии поражали — но они были внутри театра, они были ограничены рамками замкнутого пространства. «Пух и прах» идет по совершенно иному пути, хотя жанры схожи.

Впрочем, я лучше приведу здесь цитату.

«Торжественное шествие ангельских чинов и прочих участников выводит нас, наконец, к месту начала действия, совершает выразительный круг. За нашими спинами захлопываются райские врата.

Напрасно бьются в них горемыки Адам и Ева. От своего и от нашего имени. Для нас, чтоб понятно было, на вратах помещено узкое зеркало. Каждый может в нём отразиться.

Мы искренне и восторженно хлопаем, кричим “браво!” и просто “спасибо”, запечатлеваем персонажей, выбираемся из гуляющей толпы...

У нас приподнятое настроение, мы объединились вокруг чего-то важного: настоящего, искреннего, мастерского. Мы встретились друг с другом, кого-то узнали.

Символические фрагменты бульварного действия не сразу обретают в голове свое место. Они мечутся вопросами, яркими аргументами в поисках смысла, в которых

мы запутались и растерялись. И только постепенно выстраиваются в красивую современную картину большой Человеческой комедии. Или драмы. Или трагедии», — так написала критик Елена Лебедева.

Да, создатели спектакля сделали всё, чтобы мы это почувствовали и воспарили, покамест всего лишь над бульваром — ну а там как пойдет.

Создатели — это, как указано в официальном паблике театра, Сергей Быстров, Этель Иошпа, Алена Смирницкая. Огромный хор, актёры, оркестр, рок-группа «Семя тли», хореография и присоединившийся к ним поэт и актёр Герман Лукомников.

Пух оказался именно колкий — в отличие от давнего спектакля Полунина, где главной эмоцией были радость и нежность, здесь царит тревожная и вместе с тем наэлектризованная атмосфера поиска смысла.

Смысла существования.

«Чёрное пальто»

В отличие от многолюдного представления на бульваре, в этом спектакле заняты всего две актрисы: Нелли Уварова и Дарья Семёнова. Режиссер Рузанна Мовсесян поставила в театре «Пространство внутри» два рассказа Людмилы Петрушевской: «Гигиена» и собственно «Чёрное пальто», давшее название сборнику.

Вообще всем спектаклям Мовсесян свойственно это качество — они очень внимательно и напряженно «читают» вместе со зрителем сам текст, погружают нас в музыку слова, в построение фразы, они в самом лучшем значении литературны, оставаясь при этом прекрасным театром.

Так вот, в «Гигиене», рассказе, который я хорошо помню по публикации в «Новом мире» в конце 80-х, эти слова и эти фразы звучат настолько отчетливо, настолько сильно, что становится буквально трудно дышать, раздаётся какой-то звон в голове, кажется, что твое сознание расслаивается...

Ведь речь идет о дне совсем недавнем: всем нам, пережившим добровольное ковидное заточение, до боли знакома эта реальность страха, переходящего в ужас и слепоту отчаяния, реальность тюрьмы-квартиры, этого иступленного протирания спиртом и прочими антисептиками всех поверхностей, этих заградительных кордонов на двух десятках квадратных метров, и предательского вопроса, живущего у тебя внутри: когда же всё это кончится?

Рассказ «Гигиена» — это рассказ-катастрофа, подробное описание медленного падения в пропасть целой семьи, и в этом смысле он гипер-реалистичен, каждая деталь (тем более на фоне собственного опыта) кажется невероятно убедительной и страшной. В отличие от рассказа «Чёрное пальто», где речь о мистике, о теневой, потусторонней реальности, о снах и сновидческой реальности, — здесь всё слишком «по-настоящему» (хотя тогда, в конце 80-х, так не казалось).

Но в конце спектакля хочется спросить себя — именно себя — а о чём же это всё? Зачем нам был дан этот опыт?

С моей точки зрения, — о преодолении страха. На нас надвигается что-то небывалое и огромное, нам навязывают и диктуют всё более жестокие правила, нас сковывает ощущение бессилия, главное здесь — не потерять себя, не сдаться, не стать пассивными жертвами этой беды, сохранить достоинство и веру.

Мы должны оставаться любящими людьми, членами своей семьи, и в целом — всечеловеческой семьи, семьи людей.

Музыка не в стол

Так называется цикл театрально-музыкальных вечеров в театре «Мастерская Петра Фоменко», которые уже не первый год устраивает композитор и актер театра Николай Орловский. Это уже четвертый вечер, а первый состоялся восемь лет назад.

Грань между театром и музыкой здесь довольно тонка. Огромная театральная энергия, которую источает Орловский, вдохновитель всего шоу, — прекрасно передается и музыкантам его небольшого оркестра, и актёрам (Полина Айрапетова, Игорь Войнаровский, Александр Кесельман и другие). В стихи, которые тут стали песнями или зонгами, — вложена та же новая, искрящаяся энергия, хоть они очень разные, среди стихов есть и вполне детские (это, в частности, стихи Льва Яковлева), и классические — Теофиль Готье, Артю Рембо, Марина Цветаева, Льюис Кэрролл, Поль Элюар...

Но игровая природа, природа праздника и искренней, лирической клоунады, делает их единым полотном.

Жанр довольно редкий сегодня — вроде бы кабаре, но с серьезным поэтическим материалом, где сфальшивить нельзя, вроде бы театр, но в подкладке имеющий просто-таки настоящую музыкальную партитуру, родственную опере и симфонии, вроде бы «куплеты», но говорящие о любви и смерти, боге и тайне бытия.

Вообще, как мне кажется, сегодняшний театр — это не только привычные для нас впечатления (которые я, кстати, очень люблю) — большие академические сцены, атмосфера фойе, празднично одетые зрители, шорох программ и конфет, шампанское в буфете, возбужденный шёпот ожидания, голос диктора, который просит выключить телефоны, гаснущая люстра, загорающиеся софиты, рампа и театральный круг, в общем, вот это всё...

Театр сегодня не только такой — это и воздух московского бульвара, и невольное напряжение «камеры обскуры», когда в тёмном зале несколько десятков зрителей и пара актёров, и полифоническое кабаре, и многое-многое другое.

Театр пластичен и принимает все формы нашей жизни.

Такой разной жизни...

Summary

Alexej Tork. Relocant

The long short story of Alexej Tork unfolds like the diary of adventures of a relocant from Volkogonsk — beaten and confused, escaped for Dushanbe about which he knew only from the book about Hodja Nasreddin he read in his childhood. After going through a series of ordeals, lies, love, temptations and disappointments, the protagonist realizes that the East punishes him for the cheat and false. “Haven’t I gone crazy because of these exotic stories? Did I leave home at all? Maybe there wasn’t any war?.. God, everything that happened was a dream! I wasn’t in that valley, I didn’t save Sebarga who was sinking in the lake, I didn’t meet my father... But nothing prevents me from repeating all this in reality”. Those stories, the love and overcoming became the true life of the protagonist.

Poetry

“That what is written by hearts” — this sonorous line from the poem of Anna Zolotareva may be the epigraph for the poetical publications of this issue. Fine, plastic poetry of Sergej Pagyn is pierced with the light memory and dreams. For him they are his “habitable world” where everybody is still alive and “singing about childhood, mother and father”. Philosophical lyrics by Karen Shakaryan present tragic meditations over life and death. In the poems of Evgenij Stepanov dedicated to his native township Bikovo and his heroic neighbors not only the rhetoric sounds but also the worldly wisdom: “If only love would flow in me. Not blood. How to be without love?”

Under the heading “The Cultural Stratum”:

“...Imagine the winter day, 65 degrees below zero. And there, in the theater the spectators are goofing “Abhij??na??kuntalam” by K?lid?sa. The warmth of the Indian poetry in the most cold city of the world — Yakutsk”. The prime-minister of India is telling to the radio listeners about the spectacle “Sahaantala” in the Theater Olonho. The prosaist Oleg Sidorov is meditating on the life path and artistic convictions of the famous Yakut theater producer Andrej Borisov.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Главный редактор: Надеев С.А.

Вёрстка: Елена Жирнова. Корректурa: Елена Лапшина.

Дизайн обложки: Степан Лукьянов.

Учредитель и издатель — АНО Редакция журнала «Дружба народов».

Юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Гвоздева, д. 7/4, стр. 1, кв. 88.

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2, оф. 110.

Электронная почта: dn52@mail.ru. Телефон редакции (499) 5190212.

Сайт журнала: дружбанародов.com

Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Эл № ФС77-51026 от 03.10.1912.

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**11/2025**

Читайте:

**Нелли Зайцева. Как мы фиолетовый
чуть не съели. Рассказ**

— Выходи, зверёныш, — слышится снаружи.
Я — молчок. Мама задирает скатерть,
дырявит мой герметичный мир, вижу вначале
только запчасть — ноги в зелёных носках,
на мизинце — созвездие из дырочек,
а после и всю маму в позе лягушки: шорты
на завязках, майка сморщилась на животе,
голые бледные колени в растопырку, волосы
скручены сверху кулачком, пара прядей
вздыбились, рвутся из причёски.
Мама делает шажок, упирается лбом в край
стола и заступает за черту фломастера:
линию от ножки до ножки.
— Это вторжение! Ты незаконно перешла
границу! — кричу я и мягко давлю на мамины
коленки. Те заострились воинственно,
ещё больше выпятились за черту.
Мама не покачнулась, не отпрянула.
У меня жжёт в горле, из него лезут шипучие
слова: — Я жжжже просила не сссуваться!
Огородила себе уголок, это моё! —
кричу я, скалю зубы, устрашающе
рычу. Будь я взрослой, вытолкнула бы
и не миндальничала. А когда ребёнок —
приходится распугивать, упрашивать,
упрямствовать и реветь в крайнем случае.

